

★ БИТВА ★ ЗА МОСКВУ



←7→

СЕРГЕЙ СОРОКИН

Битва за Москву

Сергей Сорокин

Битва за москву 1941 - 7

«Автор»

2026

Сорокин С.

Битва за Москву 1941 - 7 / С. Сорокин — «Автор»,
2026 — (Битва за Москву)

Он погиб на своей войне — и проснулся в чужом теле, в землянке осени 1941 года. Восемнадцатилетний Андрей Гринёв ничего не помнит, зато за его глазами живёт сорокавосемилетний солдат, привыкший выживать там, где другие видят только хаос. Впереди — Вязьма, окружение, немецкие танки и рота, у которой одна винтовка на троих, пустой фланг и несколько часов до катастрофы. Здесь нет рации, приказов из будущего и права на ошибку. Есть только земля, страх, смекалка и люди, которых можно успеть спасти. Как сохранить жизнь товарищам по окопу и подарить надежду?

Содержание

Глава 1	6
Глава 2	14
Глава 3	22
Глава 4	30
Глава 5	37
Конец ознакомительного фрагмента.	43

Сергей Сорокин

Битва за Москву 1941 - 7

Москва 1941 Том 7

Глава 1



Очередь у складской избы стояла та самая, которую я ненавижу больше всего на свете, — длинная, тёплая от дыхания, тихая и совершенно бессмысленная. Оставшиеся без обуви ждали, пока писарь по одному выкликнет фамилию, каждый топтался на месте и мёрз, и каждый терял на этом стоянии те самые минуты, которые ему сегодня ночью понадобятся, чтобы выспаться.

Я посмотрел на часы. Без четверти одиннадцать.

— Ершов, — сказал я. — Закрывай дверь и никого больше не пускай.

Писарь поднял на меня лицо, круглое и испуганное, как всегда у него бывало, когда происходило что-то не по бумаге.

— Товарищ Гринёв, у меня список не дописан.

— Список у тебя дописан, ты по нему сейчас и выдашь. Только не так. — Я взял у него лист, пробежал глазами. Сорок фамилий, против нескольких уже подписи о выдаче; остальным ещё ждать. Бузыкин обещал прислать шесть пар после ремонта — вместе с тридцатью четырьмя возвращёнными набиралось сорок. Всё честно, всё правильно, и всё придётся переделывать. — Вызывай не по одному. Вызывай парами. Хвостов, иди сюда.

Хвостов подошёл, вытирая ладони о штаны. За два часа возни с чужой обувью он стал похож на сапожника больше, чем сам ротный сапожник: пальцы в жире, на плече обрывок дратвы.

— Смотри, — сказал я. — Первый из пары идёт к тебе мерить, второй — к Агафье есть. Остальные ждут у неё в тепле; будешь звать следующего, пока первый ест. Обул обоих — оба уходят спать. Так никто не стоит в дверях и не остывает.

— Так у меня в сенях мерить негде.

— В сенях и не будем. Тащи лавку к печке, там свет и тепло. Дёмин!

Дёмин появился из-за спин с перевязанной кистью, которую держал у груди, как птицу.

— Портянки на просушку не у порога клади, а вон туда, к боковой стене, — сказал я. — У порога с сапог капает, ты их сушишь и тут же мочишь.

— Я и говорил, — буркнул Дёмин, — а мне сказали, у двери сподручнее.

— Теперь тебе говорю я. Перекладывай и садись рядом, у тепла. Одной рукой вороши.

Он посмотрел на меня недоверчиво: за эти месяцы на фронте он привык, что если тебе дают работу полегче, то потом обязательно припомнят.

— Это не жалость, Дёмин, — сказал я. — Это чтобы сорок пар портянок были сухие к двум часам ночи. Больше у нас некому.

Он ушёл перекладывать. Ершов сел за свой ящик из-под макарон, посплюнул карандаш и начал:

— Опарин — Дьячков.

— Опарин, Кондрат Силантьич, — крикнул от печки Хвостов. — Ногу давай.

Опарин пошёл, ворча, что за двадцать семь лет службы, считая германскую, ему сапоги никто не мерил, он их сам себе брал с того, кто уже не встанет, и что от этой нежности у него портится характер. Хвостов слушал, не слушая, сунул ему пару, велел пройти до двери и обратно, посмотрел, как тот ставит ногу, и отобрал.

— Не эти.

— Эти хорошие! — возмутился Опарин. — Товар, а не сапоги. Я что тебе, барышня?

— Хорошие, да колодка узкая. У тебя подъём высокий. На марше подъём пережмёт, нога распухнет — потом и сапог не стянешь. — Хвостов уже рылся в куче, вытянул другую пару, поглубже на вид. — Эти.

— Эти страшные.

— Эти по ноге.

Опарин надел, прошёлся, остановился, потопал, поглядел вниз с таким лицом, будто его обманули и он не может понять в чём.

— Ну, — сказал он наконец. — Ну ладно.

— Ершов, — сказал Хвостов. — Записывай: Опарин, вторая пара из левого штабеля, не та, что по списку.

— А как же номер?

— А номер на голенище неверный, — сказал Хвостов спокойно. — Тут на трёх парах клейма не с той колодки. Я не знаю, кто их так клеймил, интендант или сам чёрт, но я по надписи выдавать не буду. Ты пиши, кому какая ушла, по факту. Иначе завтра одну и ту же пару двоим пообещают, и будет драка.

Ершов задумался на секунду — я видел, как в нём борется писарь с человеком, — и записал по факту.

Дьячков в это время уже сидел у Агафьи с миской и, по его довольному лицу после возвращения, рассказывал соседкам что-то такое, от чего они не то ахали, не то смеялись. Он вернулся сытый, добрый и совершенно готовый мерить что угодно.

Всё пошло. Не быстро — быстро оно и не могло, — но пошло ровно: один у печки, другие едят или ждут в тепле, потом меняются. Никто не стоял в сенях.

Бузыкин успел закончить шесть пар и прислал их с двумя бойцами. Хвостов проверил новые подошвы, Ершов добавил к каждой отметку о ремонте. Примерно на восьмой примерке в избу вошёл незнакомый боец в новом полушубке и с видом человека, который зашёл ненадолго и по важному делу.

— Из хозчасти, — сказал он. — Три пары приказано отобрать. Для командного состава.

Стало тихо. Хвостов замер с чьим-то сапогом в руке, и я заметил, как Тимохин у стены подобрался.

— Для какого именно, — сказал я.

— Сказано — для командного.

— Я тебя не ругаю, — сказал я, и правда не ругал, потому что он был посыльный, а посыльный виноват только в том, что его послали. — Я тебя спрашиваю: кому именно и куда они завтра идут. У меня список, и в нём люди, которые через шесть часов пойдут на лёд. Если твои трое тоже идут на лёд, я им дам сейчас и первыми, впереди всех. Если не идут — они получат в порядке общей очереди, когда я закончу.

Он открыл рот и закрыл.

— Мне фамилий не давали.

— Тогда сходи и возьми фамилии. Дорога тут пять минут. Пока ходишь, я работаю. Выдача идёт по разрешению майора Лаврова под мою ответственность, так и скажи. — Я подумал и добавил: — И ещё скажи, что я не прячу. У меня опись ведётся, время выдачи проставляется. Пусть придут и посмотрят.

Посыльный потоптался и вышел. Я знал, что он, скорее всего, не вернётся: там, где сапоги просят без фамилий, фамилии называть не любят. Но если вернётся с настоящими людьми, идущими на настоящее дело, я дам, и дам первыми, и это будет правильно.

— Круто ты с ним, — сказал Опарин от печки, уже в новых своих некрасивых сапогах.

— Не круто. Я ему дорогу назад оставил.

— Это и есть круто, — сказал Опарин. — Когда назад оставляешь. Когда не оставляешь, это дурь.

Тимохин, который у склада всё больше помогал другим, наконец пришёл мерить сам. Он взял пару, надел, сделал круг по избе, встал и сказал:

— Годится.

Хвостов посмотрел на его лицо, потом на его ноги.

— Пройди ещё раз. И не как на смотрю.

Тимохин прошёл ещё раз, и на середине у него дёрнулось лицо.

— Жмут, — сказал он. И сразу, торопливо: — Да ничего, они разносятся.

— За ночь на льду не разносятся, — сказал Хвостов. — За ночь на льду они тебе пальцы поморозят, потому что кровь не пойдёт.

— Да неудобно, — сказал Тимохин тихо, и вот тут я услышал главное. — Все берут и идут, а я один буду выбирать, как в лавке.

— Тимохин, — сказал я. — Скажи громко, что жмут.

Он посмотрел на меня.

— Громко скажи. Мне не нужно, чтобы ты был скромный. Мне нужно, чтобы ты завтра ходил.

Он сглотнул и сказал так, что услышали все:

— Мне жмут.

И, честное слово, после этого дело пошло вдвое честнее. Следующий, молоденький из последнего пополнения, сразу заявил, что в пятке болтается. Потом ещё один признался, что взял на размер больше, потому что думал, будто с двумя портянками так и надо, а ходить в них он не может, нога ездит. Хвостов их менял, ворчал, ставил рядом, заставлял поменяться между собой — и каждый раз Ершов переписывал.

К часу ночи осталась одна пара и один боец — тот самый, что брал на размер больше. Ему по списку полагались последние, и последние были ему велики.

— Ну что, — сказал Ершов почти жалобно. — Список закрывать надо. Сорок пар — сорок человек. Пусть с двумя портянками.

— Не закрывай, — сказал я.

— Товарищ Гринёв, время же.

— Время. И у меня будет к рассвету тридцать девять ходячих и один хромой. Мне такая арифметика не нужна. Хвостов, у кого сегодня оказались с запасом?

Хвостов подумал.

— У Прокудина болтались, он смолчал, я видел, как он второй портянкой добирал.

— Зови.

Прокудина привели сонного. Он поменялся, поворчал, ушёл в своих, а последний надел его прежние и встал, и лицо у него было такое, будто ему выдали не сапоги, а отпуск.

— Ершов, — сказал я. — Проставь время.

— Ноль часов пятьдесят две, — сказал он, глядя на свои часы, и вывел цифры очень аккуратно. Потом посмотрел на исписанный лист, на пустой угол склада, где два часа назад высился штабель, и сказал неожиданно: — Их же теперь не вернуть.

— Кого?

— Сапоги. Теперь они на ногах. Их со склада уже не заберёшь.

— В этом и был смысл, — сказал я.

Он кивнул, дунул на чернила и начал собирать бумаги. Я подумал, что из него, пожалуй, выйдет толк: он первый раз в жизни обрадовался тому, что склад пустой.

— Хвостов, — сказал я. — Всё. Иди ешь и спать.

— Мне ещё шило прибрать.

— Шило прибери и иди.

Он прибрал шило и пошёл, а я остался на минуту один в пустой избе, где пахло кожей, дёгтем и мокрой шерстью, и подумал, что вот это и есть выигранное дело: не арестованный капитан, не найденный в мельнице грузовик, а сорок пар на сорока людях и время, проставленное карандашом.

Потом дверь открылась, и вошёл Баранов.

Он вошёл так, как всегда входил, — без стука, бесшумно и сразу оказавшись в середине комнаты, будто был тут всё время.

— Зорина увозят через полчаса, — сказал он. — Лавров зовёт тебя послушать. Он говорит.

— Кто говорит?

— Зорин говорит. — Баранов сел на лавку, вытянул ноги. — Весь вечер отпирался, а как машину подали — заговорил.

Я снял с гвоздя шинель. Баранов едва успел вытянуть ноги и уже поднялся следом: сидеть было некогда.

В штабной избе было накурено, и от этого дыма у меня сразу заслезились глаза после мороза. Лавров сидел за столом в расстёгнутой шинели, и вид у него был не следовательский, а усталый. Зорин стоял. Ему не предложили сесть, и он стоял очень прямо, держа руки за спиной, будто это была его собственная идея.

— Повторите при Гринёве, — сказал Лавров.

— Я не буду повторять при Гринёве, — сказал Зорин.

Лавров придвинул к себе лист.

— Тогда не повторяйте. Машина через полчаса.

Зорин помолчал. Он был немолодой человек с хорошим, ровным лицом, из тех, кого начальство любит за то, что при них всё выглядит в порядке.

— Мельничный староста, — сказал он наконец. — Через него шло. Не через меня.

— Как шло?

— Ему приносили. Он клал в условленное место. Знак — кусок мешковины на верхнем окне мельницы. Если мешковина висит, значит, можно подходить.

Баранов, стоявший у печи, вынул из кармана записную книжку Крамера и, не торопясь, перелистал. Нашёл. Повернул страницу к свету.

— Тут есть, — сказал он. — Отметка на полях против трёх дат. Значок вроде квадратика с чёрточкой. Я думал, номер склада.

— Это оно, — сказал Зорин.

— Может, оно, — сказал Баранов. — Проверять буду я, а не вы.

Зорин слегка повернул голову к Лаврову.

— Товарищ майор. Если я даю такое, разве нельзя задержать отправку до выяснения? Я мог бы быть полезен здесь.

Вот оно. Я стоял и смотрел, как человек кладёт на стол одну настоящую вещь и сразу пытается купить на неё что-то, чего ему не дадут.

— Нет, — сказал Лавров. — Отправку не задержу и должности не верну. Если ваши сведения подтвердятся, это учтут. Если не подтвердятся, это тоже учтут.

Зорин чуть побледнел и заговорил быстрее. Он начал называть фамилии. Одну, вторую, третью — интендантские, тыловые, знакомые и незнакомые, и по тому, как он их выговаривал, я понял, что половину он просто вспоминает, чтобы не остаться один.

Лавров записывал молча. Потом положил карандаш.

— Мешковина на окне и место передачи — это проверяемо, — сказал он. — Фамилии без обстоятельств — это не проверяемо. Что вы можете сказать про Севрюгина, кроме того, что он вам не нравился?

Зорин молчал.

— Обстоятельств не назвал, — сказал Лавров, записывая. — Так и запишем.

Лавров позвал караульных из сеней. Один встал у двери, второй подошёл к Зорину. Уже на выходе, когда ему велели взять шапку, Зорин обернулся ко мне. Не со злобой, а с каким-то вялым любопытством.

— Это ведь вы сапог разрезали, — сказал он.

— Я.

— Вам-то зачем?

— Затем, что в нём картон, — сказал я. — А идти по льду.

Он подумал и кивнул, как будто я сказал что-то занятное, но не имеющее к нему касательства, и вышел.

Баранов вышел следом за мной на крыльцо. Мороз после избы взял сразу, и я почувствовал, что шинель на спине отсырела и теперь схватывается коркой.

— Мешковину проверю сам, — сказал Баранов. — Ершову скажу, чтобы отложил бумаги по маршрутам, отдельно от общего. Только пусть отложит и спит, а не сидит над ними до утра. Он мальчишка, у него глаза уже красные.

— Так и скажи, — согласился я.

— А ты не суйся. — Он посмотрел на меня искоса. — Я тебя знаю. У тебя лицо сейчас такое, будто ты прикидываешь сходить к мельнице до рассвета.

Я и правда прикидывал. Три секунды, не больше. Мельница была в четырёх километрах, до выхода оставалось меньше трёх часов, и очень хотелось дожать то, что уже начало поддаваться.

— Не пойду, — сказал я.

— Почему?

— Потому что в шесть тридцать лёд, — сказал я. — И потому что если я ночью уйду за старостой, то на лёд поведёт кто-то другой, а другой не слышал Колесника. Мне ещё у него уточнить надо, он ждёт.

Баранов помолчал.

— Правильный ответ, — сказал он. — Редко его слышу.

— Ещё одну вещь заberi с собой. — Я застегнул воротник. — Старый путь подвоза шёл мимо мельницы. Если там висела мешковина, значит, наши обозы шли под наблюдением. Это надо сказать снабжению, чтобы они маршрут перебрали. Не завтра, а сейчас.

— Скажу Лаврову. Он скажет кому надо.

Он ушёл в темноту, и я снова остался один, и опять на несколько секунд почувствовал тот особый соблазн, который на войне хуже трусости: желание сделать всё самому. Оно подаётся под видом ответственности, а на деле это просто неумение отпустить.

Я отпустил и пошёл к Агафье.

Изба у Агафьи была маленькая, а народу в ней помещалось много, потому что старуха умела расставить людей, как никакой старшина. Она сидела у печи с ухватом, и вокруг неё было три соседки, два чугуна, корыто и порядок, при котором каждый входящий сразу понимал, куда ему деваться.

— Куда, куда! — закричала она на меня с порога. — Мокрый! Мокрый к столу не ходи, стой там, отряхнись.

— Агафья Никитична, я на минуту.

— Знаю я твою минуту.

У входа было отгорожено место для мокрых — просто лавка и постеленная дерюга, — и там сидел Прокудин, сушился и держал кружку.

— Сколько вам народу дать в помощь? — спросил я. — Дров, воды.

— Двоих, — сказала Агафья твёрдо. — Больше не давай.

— Я могу пятерых.

— А мне пятерых не надо. Пятеро твоих начнут топтаться и в дверях стоять, и я вас кормить не успею, а буду вокруг вас ходить. — Она ткнула ухватом в сторону сеней. — Двое — воду и дрова. Только с чугуном в дверях не торчать, это не помощь. Людей пускай по одной смене. Я сказала — по одной, и не надо мне тут всю роту разом.

— По одной, — сказал я.

— Вот и умный, — сказала Агафья, повернулась и отвесила поварёшкой по руке какому-то бойцу, полезшему в чугуна раньше времени. — А ты не лезь, тебе в третью очередь.

Я вышел и выставил двоих на воду и дрова, и очередь пошла сменами, и получилось быстрее, чем если бы я пригнал всех сразу. Такие вещи я знаю не по книжкам: тесная кухня кормит быстрее, когда в ней меньше людей.

Юдин со своей парой пришёл во вторую смену. Он ел сосредоточенно, как едят молодые, которым всё время мало, а потом вытащил из-за пазухи что-то плоское, завернутое в тряпицу, и начал разворачивать с тем осторожным видом, с каким разворачивают документ.

Это была карточка. Та самая, что сделала Зимина: отделение у стены, Хвостов с топориком, Осипов с катушкой, Дёмин с повязкой.

— Мокрая, — сказал Юдин с отчаянием. — В сенях у меня за пазухой была, когда я воду носил.

— Дай подсохнуть, — сказал Осипов, не отрываясь от своей кружки.

Юдин поднёс её к самому печному боку, почти прислонил.

— Убери, — сказал Осипов и вскочил. — Убери, свернёт!

Он выхватил карточку у Юдина из рук, и я успел увидеть, что край её уже начал заворачиваться внутрь, как сухой лист. Осипов подул на неё, положил на стол, прижал ладонью и минуту держал.

— Ну вот, — сказал он. — Ну вот, немного покорило.

— Совсем испорчена?

— Да живая она, живая. Её распором надо. — Он полез в карман, вытащил щепки, которые всегда у него откуда-то брались, обломал их об колено на четыре ровных куса и сложил вокруг карточки рамкой, придавив по углам. — Вот так лежи. И не у печи, а вон там, на лавке. Сохнет медленно — сохнет ровно.

Юдин смотрел на свою рамку, как смотрят на ребёнка в чужих руках.

— Я её тётке хотел, — сказал он вдруг. — В Загорье.

— Так и пошли.

— Пошлю. — Он помолчал. — Только я адрес не помню точно. То есть помню, но там улица не улица, а «на краю, где колодец». Я думал, засмеют на почте.

— Не засмеют, — сказал Осипов. — У меня мать в такой же деревне. Я так и пишу: за мостом второй дом.

— А узнает она тебя? — спросил вдруг Юдин. — Ну, если по карточке. Я же теперь стриженный и в шинели. Я тётке два года не показывался, а тут раз — и вот такое лицо.

Осипов посмотрел на него очень серьёзно.

— Мать узнает, — сказал он. — Тётка узнает по ушам.

Юдин засмеялся, и сразу стало проще, потому что никто не стал у него спрашивать, почему тётка, а не мать, и куда делись остальные. На войне это лишнее умение — не спрашивать, — и оно приходит быстро.

Осипов тоже вспомнил о своём письме, полученном несколько дней назад. Он достал листок, вчетверо сложенный, весь мягкий от таскания, и, ни к кому не обращаясь, сказал:

— А мне мать ответила. Три строчки.

— И что пишет?

— Пишет: «Илюша, шапку носи». — Он подумал. — И ещё, что тётя Поля померла, а корову свели в колхоз.

— Богатое письмо, — сказал Дьячков от стены.

— Богатое, — согласился Осипов без всякой обиды. — Она не мастер писать. Она мне в прошлом году всё письмо про то, как забор чинили.

Дьячков в это время сидел на полу с новеньким — тем самым, у которого болталось в пятке, — и учил его складывать портянку. Он делал это молча и по десятому разу, разворачивал и складывал снова.

— Гляди, — сказал он. — Шов ведем наружу. Вот сюда наружу, к голенищу. Если шов внутрь ляжет, он тебе к утру в кость вьестся, и ты хромым, а никто не поймёт отчего.

— Так вроде ровно же.

— Ровно, да с горбиком. — Дьячков разгладил ладонью. — Тяни угол вот отсюда, а не отсюда. И не затягивай. Портянка не жгут.

Новенький пыхтел. Дьячков разворачивал. Новенький складывал опять. На четвёртый раз Дьячков сказал: «Вот» — и это было лучшее, что тот сегодня слышал.

Я ел последним, с последней сменой, когда соседки уже начали собирать посуду. Ел затируху, горячую до глухоты, и чувствовал, как от неё внутри расходится тепло и вместе с теплом наваливается свинец.

Агафья села напротив, отодвинув чугунок, и положила на стол письмо. Оно было мятое и уже читанное много раз, с разлохмаченным сгибом.

— Второе, — сказала она. — Со вчерашнего лежало, под блюдцем.

— Пишет?

— Пишет. Плечо ему перебило, лежит, кормят хорошо. — Она разглаживала сгиб ногтем. — Он и первое написал, а я думала, соврали, кто-нибудь за него написал. А это второе такое же рукой, вот тут он всегда «щ» заваливает.

Она замолчала, и я понял, что она сейчас не плакать собирается, а деловое говорить.

— Ты вот что, — сказала она. — Ты больше не ищи. Не надо мне искать. Я знаю где он. Ты ответ снеси.

Она вытянула из-под того же блюда второй листок, сложенный конвертом, и я увидел, что там чужим почерком, крупно и с наклоном: писала соседка под диктовку.

— Я вчера продиктовала, — сказала Агафья. — Я ждала, чтобы кто пойдёт.

— Снесу. У меня как раз конверты роты идут.

— Ты его не в середину клади. Ты его сверху.

— Сверху, — сказал я и положил её конверт себе за пазуху, к другим, и это оказалось неожиданно приятно: нести не запрос, не поиск, не «попробую узнать», а готовый ответ живому человеку.

— Ешь, — сказала Агафья. — Ложку-то не гоняй по миске, ешь.

— Ем.

— Ты у меня хоть час полежишь за печкой, — сказала она тоном, не допускающим переговоров. — И не спорь. Час у тебя есть, я по ходикам следить буду.

— Мне сначала надо...

— Всё тебе надо. — Она встала. — Сперва спи, потом надо.

Спать я лёг не сразу, потому что сперва сходил к Колеснику.

Колесника после госпиталя вернули на долечивание при части; ходить ему врач ещё не разрешил. Медпункт стоял в бывшей школе, и в классе, где лежали тяжёлые, ещё висела на стене чёрная доска — настоящая, школьная, с желобком для мела. Военфельдшер, дежуривший ночью, посмотрел на часы и сказал, что даёт мне двадцать минут, потому что раненому в два укол и после укола он спит.

Колесник лежал на спине и был бледен той особой желтизной, какая бывает у человека, потерявшего много крови. Нога у него была под каркасом из ящичных дощечек. Он повернул голову.

— А, — сказал он. — Пехота.

— Пехота, — сказал я. — Сергей, мне надо лёд.

— Знаю. Мне уже доложили, что ты придёшь. Ковригин твой приходил, говорит, будет выпытывать.

Я принёс из сеней небольшую гладкую доску, подложил под неё свёрнутую шинель и придержал перед ним под наклоном. Подал мел.

— Ого, — сказал Колесник. — Ты серьёзно.

— К половине седьмого надо быть готовыми на берегу.

Он взял мел неловко — левой, потому что правой ему было больно поворачиваться, — и провёл кривую линию.

— Река, — сказал он. — Где переправа? Сваи есть?

— Сваи есть. Старый мост был, остались быки — три штуки. Настил обрушен, ходят по льду рядом.

— Рядом с какой стороны?

Я показал.

Он поставил три крестика и вокруг каждого нарисовал что-то вроде растрёпанного пятна.

— Вот это, — сказал он, — тебе надо помнить лучше, чем свою фамилию. Бык стоит в воде. Вода идёт и обтекает его. Она не может пройти сквозь, она идёт вокруг, и она в этих местах быстрее. А где быстрее, там лёд тоньше. Всегда. Хоть в январе, хоть в марте. И самое паршивое — не то, что он тоньше, а то, что он сверху точно такой же, как везде.

— Снег его ровняет.

— Снег и ветер. Намётёт — и не отличишь. — Он посмотрел на меня. — Ты, наверное, слышал, что лёд надо по цвету смотреть. Тёмный — плохо, белый — хорошо.

— Слышал.

— Забудь. Ночью ты цвета не увидишь, а если увидишь, соврёт. Бывает тёмный и крепкий, потому что чистый, и бывает белый и дрянь, потому что снежура смёрзлась, а под ней пусто. Цвет — это днём и для тех, у кого есть время.

Он положил мел, потому что рука устала.

Глава 2



— Тебе нужен звук и шуп. Шуп — палка с железом на конце, лучше два шага длиной, чтобы ты его перед собой втыкал. Идёшь — ткнул. Идёшь — ткнул. Не в то место, куда встанешь, а на шаг впереди. Если пошёл легко, будто в творог, стой. Если пробил с одного удара — стой и назад по своему следу. По своему, слышишь, а не в сторону, потому что сбоку ты не знаешь.

— А звук?

— Звук ты уже знаешь, только не думал. — Он чуть улыбнулся. — Хороший лёд под ударом гудит низко. Как по столу. А плохой — шлёпает. Вот так: шлёп. Как по мокрой доске. И ещё: когда идёшь по хорошему, он у тебя под ногой трещит сухо и в разные стороны, это он работает. Страшно, а ничего. Но одним звуком не успокаивайся. Бывает, тонкий лёд молчит и гнётся, а вода под ним шипит. Толщину всё равно шупом проверяй.

Я запомнил. Молчащий лёд. Я привык, что тишина — это отсутствие опасности; теперь мне нужно было переучиться за одну ночь.

— И вот ещё. — Колесник опять взял мел и провёл от одного из крестиков линию вниз по течению. — За быком, вот тут, ниже, бывает полынья. Она не всегда открытая, часто заросшая, забитая шугой, снегом присыпанная, и с берега выглядит как ровное место. Даже лучше, чем ровное: гладкое, без торосов. Идти по нему — одно удовольствие.

— И туда идут.

— Туда идут все, кто торопится, — сказал Колесник. — Поэтому если хочешь кого-то поймать — он пойдёт туда.

Я сидел и молчал, потому что мне надо было переложить это в завтрашнее. Он сказал не про безопасность. Он сказал про то, где будет противник.

— Покажи, как ты пойдёшь, — сказал Колесник.

— Веду наблюдателя вот сюда, — я показал на берег ниже свай, — оттуда виден весь створ.

— Сюда не веди.

— Почему?

— Потому что там за быком течение выносит и берег подмыт, у тебя под снегом карниз. Он тебя выдержит, пока ты не ляжешь. А ляжешь — обломится, и ты съедешь на лёд, и тебя будет видно от самых немцев. — Он постучал мелом по доске. — Веди выше по течению. Вот сюда. Дальше на двадцать шагов, зато под ногой берег, а не козырёк.

— Выше створ хуже видно.

— Хуже видно и целый наблюдатель, — сказал Колесник. — Или лучше видно и мокрый.

Я переложил в голове ещё раз. Он был прав, и я знал, что он прав, потому что вчера сам бы поставил человека именно на тот подмытый мыс — он красиво выдавался и обещал обзор.

— Остальных где остановишь? — спросил Колесник.

— На берегу, у землянки. На лёд пойдут двое.

— Двое и по одному щупу на каждого. И верёвку между ними не короче пяти шагов, а лучше десяти.

— Почему не короче?

— Потому что если провалится передний на короткой, второй въедет за ним по инерции, и будет два трупа вместо одного мокрого. — Он сказал это ровно, как таблицу умножения. — Десять шагов — задний успевает лечь.

Военфельдшер прошёл мимо и постучал пальцем по своим часам.

— Последнее, — сказал Колесник. — Ты меня слушай, но не думай, что послушал и всё. Я тебе рассказал, как смотреть. Настоящую проверку делают сапёры с буром, они меряют толщину и считают, сколько чего выдержит. Я тебе этого не дал. Ты завтра узнаешь, где не ходить пешком. Ты не узнаешь, пройдёт ли повозка.

— Мне бы пешком.

— Пешком — узнаешь.

Я достал из внутреннего кармана карточку. Ту самую, с немецкой плёнки: двор лесного дома, разгрузка, двое пленных у кузова и офицер снабжения сбоку, вполоборота.

— Это твоё, — сказал я. — Мне сказали, ты не хотел смотреть.

Он взял. Долго держал перед собой на вытянутой руке — глаза у него, видимо, плохо ловили после потери крови. Потом положил на грудь.

— Вот это моя рука, — сказал он. — На ящике. Я её узнал раньше, чем лицо.

— Если не нужна, я уберу.

— Оставь.

Я удивился, и он это заметил.

— Я тот двор вспоминать не хочу, — сказал Колесник. — А карточку возьму. Потому что через год мне самому будет казаться, что не было. Человек так устроен, он себе потом не верит. А тут: вот я, вот ящик, вот число на обороте. Значит, был, и значит, вышел.

Он спрятал её под подушку, к чему-то, что там уже лежало, — я не стал смотреть.

— Иди, — сказал он. — И вот что. Когда пройдёшь — нарисуй мне.

— Что нарисовать?

— Полосу. Как шёл, где щуп ушёл, где держало. Не для красоты. Мне надо знать, совпало ли с тем, что я тебе тут наговорил. — Он поморщился, то ли от боли, то ли от досады. — Я лежу и учу по памяти. Память врёт. Принесёшь — проверю себя.

— Принесу.

Военфельдшер уже стоял в дверях со шприцем.

Спал я час и проснулся оттого, что Агафья тронула меня за плечо и сказала: «Вставай, солдат». Шинель моя висела у печи и была сухая, что после короткого сна показалось мне

почти неприличной роскошью. На столе стояла кружка с кипятком, забелённым чем-то — не молоком, но и не водой, — и лежали сухари. Осипов сидел у порога и мотал катушку. Юдин спал сидя, привалившись к стене, а его карточка, уже сухая и плоская, лежала между щепок, и Осипов, поймав мой взгляд, молча показал на неё большим пальцем: цела.

— Дьячков сменился, — сказал Осипов вполголоса. — Хвостов встал, режет шупы.

— Долго встал?

— С полчаса. Я ему говорил, я сам разбужу, а он говорит, спать не может, руки чешутся.

Я выпил кружку и подумал, что вот теперь бы им сказать что-нибудь. Но говорить было нечего и незачем. Они всё сделали сами: разбудили, высушили, сварили, смотали, посторожили, — и пока я спал, отделение существовало без меня, и это было, наверное, самое важное приобретение за всю неделю.

Обозник, приехавший с ротной почтой, поймал меня во дворе, когда я застёгивался.

— Гринёв? Тебе возврат.

Он подал конверт, и я узнал свою руку. Свой почерк на своём же письме — вещь неприятная. Штемпель, помарка, и поперёк наискось чернильным карандашом: «Адресат выбыл по эвакуации».

У меня внутри что-то оборвалось и сразу же встало обратно: я перевернул конверт и увидел на обороте вторую надпись, помельче, другим почерком. Район, город, номер — не улица, а номер учреждения или общежития, что-то вроде.

Значит, не в никуда. Значит, кто-то в той деревне не поленился и приписал, куда уехала Гнутова Мария.

Прошло почти шесть недель с того дня, как я его отправил. За эти шесть недель мы сменили два рубежа, рыли мёрзлое, мёрзли, хоронили ещё четверых, и я, честно говоря, успел похоронить и это письмо тоже.

Зими́на работала в той же избе с завешенным окном, где пахло уксусом и чем-то ещё, от чего щипало в носу. Она посмотрела на конверт, потом на меня.

— Внутри что?

— Два отпечатка. Один с ним, у кухни, другой — отделение после боя. И вещи: кiset, карандаш, письма, пилотка с иголкой, нитки. Птичка деревянная отдельно завернута.

— Давайте сюда.

Она вскрыла аккуратно, не разрывая, и вынула отпечатки. Ранний сохранился лучше, а новый, с отделением, покособился и в одном углу слегка слип с бумагой, в которую был завернут.

— Ай, — сказала Зими́на. — Кто ж так пакует.

— Я так паковал.

— Вы так паковали. — Она не сердилась, она уже работала: отделила отпечаток кончиком ножа, положила на стекло, накрыла листом. — Ему надо просохнуть, он сырость взял в дороге. Полчаса у вас есть?

— Есть.

Она положила сверху ещё книгу и прижала.

— Теперь завернём по-человечески. Сначала мягкий лист, потом плотный с двух сторон, и вот сюда, по углам, я подложу. Чтобы не гнулось. — Она поглядела на старый конверт с надписью «выбыл». — Этот выбросить?

— Нет. Вложить внутрь.

— Зачем?

— Затем, что она получит письмо про сына с опозданием на два месяца и не поймёт почему. А тут увидит: отправлено тогда-то, вернулось, ушло опять. Значит, не забыли. Просто искали.

Зими́на посмотре́ла на меня, и я первый раз увидел у неё в лице не профессиональное любопытство, а что-то другое.

— Правильно, — сказала она. — Люди про это всегда думают. «Значит, не сразу вспомнили».

Я сел к её столу и дописал. Первое письмо я писал долго и мучительно, и там было про его бег, про то, как он помог Юдину подняться, и про то, как умер. Теперь я дописывал строчку.

«Мария Даниловна, это письмо я отправил ещё зимой, оно вернулось из вашей деревни, потому что вы уехали, и почти шесть недель ходило туда и обратно. Посылаю снова по новому адресу. Всё, что в нём написано, написано тогда и остаётся верным. Мы взяли то село. Оно называется Взгорье. Федю похоронили там же, в саду за южной стороной церковной ограды, могилу отметили, и она записана.

Котелок его у меня. Я его не посылаю почтой не потому, что жалею, а потому, что тяжёлая вещь ходит долго и может потеряться. Напишите, как вам лучше: выслать отдельно или сохранить, пока не будет случая привезти самому».

Я подумал и не стал дописывать «обязательно привезу». Обещать это сейчас было нельзя. Не потому, что я собирался помирить, а потому, что человеку, у которого только что убили сына, нельзя давать обещание, которое зависит от мины.

Зими́на завернула оба снимка между плотными листами. Получилось плоско и твёрдо, как маленькая книга. К вещам она уложила их отдельно, проложив пилоткой; птичку оставила в её собственной обёртке.

— Подпишите сами, — сказала она. — Пусть видит вашу руку, а не чужую приписку.

Второе письмо я писал уже в другом месте — за столом у Агафьи, при свече, которую она пододвинула ближе, не сказав ни слова.

Александра Тимофеевна писала мне неделю назад. Письмо было короткое и деловое, как всё, что она пишет: у них принимали тяжёлых после налёта на станцию, двое суток без смены, и она пишет, что научилась спать стоя, прислонившись к косяку, и что это, наверное, ужасно неприлично. А в конце вдруг:

«У нас в отделении бесследно исчезают ложки. Их никто не крадёт, они просто перестают быть. Я подозреваю, что где-то есть место, куда они уходят, и там их уже целая гора. Если вы, Андрей Кузьмич, вдруг набредёте на эту гору, возьмите одну, мне лично».

Я перечитал это раза четыре за неделю и каждый раз почему-то улыбался как дурак.

«Александра Тимофеевна,

сегодня я вспоминал ваше письмо за самым романтическим занятием: я четыре часа выдавал людям сапоги. Оказывается, это труднее, чем кажется. Человек стесняется сказать, что ему жмёт. Он готов отморозить пальцы, лишь бы не показаться привередливым. Я сегодня заставил одного сказать это вслух, при всех, и после него признались ещё шестеро. Так что если вы когда-нибудь услышите, что мужчины не умеют выбирать обувь, — они умеют, они просто боятся.

Про ложки. Горы я пока не нашёл, но Хвостов обещал выстрогать одну, как только выберет сухую берёзу. Я её отложу отдельно, чтобы не потерять на марше, и отдам вам в руки. Не пересылкой — в руки, потому что пересылкой оно всё равно пропадёт, и вы будете думать, что я пошутил.

Про себя: жив, сыт, спал час, и это неожиданно много. Сегодня ночью у нас работа, о которой я не пишу, и к тому времени, как вы прочтёте, она уже будет либо сделана, либо нет. Вы не пугайтесь этой фразы. Я не собираюсь никуда деваться. Я просто не умею писать письма, в которых всё хорошо, и вы, по-моему, тоже.

Мне вернулось письмо матери Гнутова. Я его отправил снова. Оно теперь шесть недель ищет человека, а человек ищет, где жить. Вот с этим я ничего сделать не могу, и это злит меня больше, чем немцы.

Стоя у косяка не спите. Ложитесь на пол, если больше нигде. Пол честнее, он хотя бы не роняет.

А. Гринёв».

Я запечатал, надписал и положил в общую пачку, а сверху, как велено, — Агафьин конверт сыну.

Из деревни вышли ровно в четыре, как приказал Лавров. Перед выходом Осипов доложил состав и получил подтверждение: до берега успеваем, дальше действуем без задержек.

Шли лесом, по санной дороге, по двое, с интервалом. Снег скрипел так, что мне казалось — нас слышно за версту, но это всегда так кажется ночью. Хвостов нёс четыре щупа — длинные жерди с насаженными железными наконечниками, которые он вырезал и набил за полчаса из какого-то трофейного лома.

— Два шага длиной, — сказал он мне, когда я посмотрел. — Ты сказал два, я сделал два с четвертью. На перчатке ещё полшага потеряешь.

— Кто тебе сказал про два?

— Ты сказал. Ночью. Когда от раненого вернулся. Ты во дворе стоял и вслух повторял, как дурак. Я и запомнил.

Я этого за собой не заметил. Видимо, я и правда стоял во дворе и повторял: щуп, десять шагов верёвки, молчащий лёд.

Берег вышел к нам сам собой — сначала перестали быть деревья, потом открылось белое, плоское и пустое, и на этом белом торчали три чёрных горба, три обломанных быка старого моста.

Я остановил всех на опушке.

— Так, — сказал я. — На лёд идут двое. Остальные сюда не спускаются, и я это повторять не буду. Юдин.

— Я.

— Ты на берег, выше по течению. Не на мыс. Видишь мыс, который выдаётся?

— Вижу. Оттуда хорошо видно.

— Оттуда хорошо видно и оттуда ты поедешь вниз вместе с берегом. Он подмыт, там снежный козырёк. Пойдёшь на двадцать шагов выше, вон к тому коряжнику.

Юдин посмотрел на мыс, потом на коряжник, и я видел, что ему жалко мыса.

— Сектор оттуда уже.

— Уже. Зато ты живой и на месте. И вот ещё: выбери себе ориентиры сейчас так, чтобы они были понятны на рассвете. Не «вон та тень». Тень уйдёт.

Он прополз за корнями, примерился из двух низких укрытий.

— Левый бык вижу, — сказал он. — Правый край пока беру по коряге перед нами. Когда посветлеет, выберу дальний ориентир. Ниже не смотрю — там ваш выход.

— Хорошо. И твой сектор не должен пересекать наш выход. Мы будем возвращаться вон оттуда, снизу. Ты туда не смотришь и туда не стреляешь.

— Понял.

— Повтори.

— От левого быка вправо, по коряге. Ниже не стреляю, там вы. На рассвете уточню дальний край.

Хвостов раскладывал щупы на сухом месте, под деревом, не на снегу, — чтобы не обмерзали. Осипов уже присел с катушкой.

— Провод как поведёшь? — спросил я.

— Вдоль санной колеи, — сказал он. — В колее снег примят, я его в бровку вдавлю, сверху присыплю. Поверху никто не пойдёт, а если пойдёт, то по колее, и провод у него сбоку под бровкой.

— Смотри, чтобы сани не зацепили.

— Вот про это я и думаю. — Он показал на спуск. — Тут поворот, и если пойдут гружёные, полозом занесёт вбок, и он мне линию вырвет. Я тут запас оставляю. Петлю на три шага, вон под тот куст. Вырвет — она выберется, а не лопнет.

— И проверь разговор до того, как закопаешь.

— Обязательно. Я один раз уже закапывал непроверенный. Полкилометра потом руками разгребал.

Он отошёл и через минуту тихо сказал в трубку своё «раз-два, раз-два», послушал, кивнул сам себе и только после этого начал прятать.

Мы с Хвостовым пошли на лёд.

Первое, что я понял, ступив на него, — насколько всё врёт. С берега лёд выглядел как ровный белый пол. На нём же оказалось, что он весь в застругах, что в одном месте нога проваливается в снег по щиколотку, а в другом скользит по надутому насту, и что под снегом ничего не видно вообще.

Хвостов шёл впереди, я в десяти шагах за ним, верёвка между нами провисала и волочилась.

Хвостов ударил щупом. Лёд отозвался низким гулом. Он повторил удар, проверил след наконечника.

— Держит, — сказал он вполголоса.

Шаг, ещё удар. Я шёл по его следу и не торопился.

Мы дошли до первого быка. Вблизи он был огромный, обледеневший снизу, обросший бородой из намёрзшей шуги, и от него пахло сыростью — на морозе, а пахло сыростью, и это меня насторожило раньше всякого щупа.

— Обходим широко, — сказал я. — Не вплотную.

Мы взяли дугой, шагов на пятнадцать в сторону. Хвостов ткнул — и щуп ушёл. Не пробил, а именно ушёл: мягко, как в творог, на ладонь, и остановился.

Он замер.

— Назад, — сказал я. — По своему следу.

Он отступил три шага точно в свои ямки, присел, ткнул сбоку. Тут держало.

— Вот она, — сказал я.

Мы обошли по краю и нащупали её всю — вытянутое пятно ниже быка по течению, шагов тридцать в длину, шагов десять в ширину, и это было самое ровное, самое гладкое и самое красивое место на всей реке. Ни одного заструга. Снег лежал на нём аккуратно, как скатерть.

Я стоял и смотрел на эту скатерть и думал про Колесника, лежащего на спине в школьном классе с чёрной доской.

«Туда идут все, кто торопится».

— Помечать будем? — спросил Хвостов.

— Будем. Но не вехами.

— А чем? В темноте по памяти не найдёшь.

— Веха на пустом берегу — это вывеска. — Я показал на дальний берег, серый и молчаливый. — Если мы тут воткнём палки поперёк, утром любой дурак с той стороны увидит: русские что-то огородили. И либо не пойдёт, либо пойдёт правильно.

— А нам надо, чтоб пошёл неправильно.

— Нам надо, чтоб мы знали, а он нет.

Мы сделали иначе. Я взял линию от видимого левого быка на корягу нашего берега и отсчитал шагами. Хвостов на кромке хорошего льда положил три комка смёрзшегося снега, ничем не отличавшихся от сотни таких же вокруг, но лежавших на одной линии с корягой на нашем берегу. Мелочь, ерунда. Но если знаешь — видно, а если не знаешь — не видно.

Вернувшись к берегу, я изменил первоначальный приказ: остальных тоже надо было научить проходу. Хвостов позвал четверых по одному и провёл каждого своим следом, только до безопасного поворота и обратно.

— Ставь ногу в мою, — говорил он. — Не рядом, а в мою. Вот. Теперь считай: от коряги двенадцать шагов прямо, потом бери на левый бык, потом сорок вдоль. Влево не сходи. Слышишь, не «примерно левее», а вот эти сорок вдоль.

— Я запомню.

— Ты не запомнишь, ты пройдёшь, — сказал Хвостов. — Один раз пройдёшь сам — запомнят ноги. Ноги честнее головы.

Он провёл так четверых. На это ушло много времени — гораздо больше, чем если бы я просто махнул рукой и сказал «держись левее», — но к шести утра у меня было четверо, которые ходили по этому льду ногами, а не по моему рассказу.

Рыбачья землянка нашлась там, где и должна была: у самой воды, вросшая в берег, с просевшей крышей и печуркой из половины бочки. Мы её отрыли, и она оказалась сухая. Зато пили в темноте, прикрыв вход дерюгой, и по очереди, по двое, грелись минут по пятнадцать. Дым выводили в старую жестяную трубу, и я дважды выходил наверх смотреть, не видно ли его на фоне неба, — не было видно, ветер сносил вдоль берега и рвал.

Позиции выбрали и заняли ещё в темноте. Станкового пулемёта у нас не было, был ручной, его поставили в промоину под корягой, откуда простреливалась вся середина. И всё это мы делали с одним правилом: с той стороны берег должен выглядеть пустым. Никаких вытопанных площадок, никаких брошенных ящиков, следы от землянки замели лапником и присыпали.

После шести облака разошлись и над рекой открылась луна.

При лунном свете проступил дальний берег, за ним лес. Юдин нашёл сухую ветлу против левого быка и тихо назвал её мне: теперь у сектора был дальний край. До зимнего рассвета оставалось ещё долго. Мороз крепчал, от реки тянуло ледяным сквозняком.

Я лежал у коряги рядом с Юдиным и слушал, как у меня замерзают колени.

В шесть двадцать две Юдин сказал:

— Идут.

Я не сразу нашёл их глазами. Потом нашёл.

Три фигуры вышли из кустов на том берегу и спустились на лёд. Не колонной — враспынную, с интервалами. Шли неторопливо.

— Трое, — сказал Юдин. — Нет, четверо. Четвёртый сзади, у кустов остался.

Я смотрел и не понимал. Разведка так не ходит. Разведка идёт быстро, налегке и по возможности не по открытому месту на рассвете.

— Двое тащат, — сказал Юдин. — Между ними что-то. Ящик или мешок.

Вот тут у меня похолодело внутри сильнее, чем от снега.

Двое несли груз к среднему быку. Третий отстал шагов на двадцать и лёг — я видел, как он устроился и как приклад лёг ему в плечо. Четвёртый остался у кустов на их берегу.

— Прикрывают, — сказал Юдин. — Это охранение.

— Это охранение.

Передний из двоих дошёл до быка и присел у самого его подножия, там, где лёд смерзается с камнем. И начал что-то делать руками.

И в эту секунду всё встало на место, и книжка Крамера, которую Баранов переводил при свече в интендантской, повернулась ко мне другой стороной.

«Лёд — шесть тридцать, русский берег пуст».

Я думал, это разведка: придут проверить, выдержит ли лёд их технику, и заодно посмотрят, есть ли кто на нашей стороне. И весь вчерашний вечер я готовился к тому, чтобы нас не нашли.

А они шли не смотреть. Они шли считать, за сколько минут можно подойти и сколько нужно унести. «Русский берег пуст» — это не разведданные, это условие работы. Лёд у них в записной книжке стоял не как дорога, а как цель. Крамер собирался не пройти по нему. Он собирался его положить — вместе со старыми быками, на которые завтра ляжет настил, и вместе со всей переправой, по которой через несколько часов пойдут наши.

Юдин потянул винтовку.

— Стой, — сказал я и взял его за рукав.

— Уйдёт же. Он же сейчас поставит и уйдёт.

— Не уйдёт. — Я держал его за рукав крепко, ощущая под сукном напряжённую руку. — Слушай меня. Я сейчас не благородство изображаю. Я не знаю, откуда они это подорвут. Если у них провод — он тянется куда-то на тот берег, и его надо найти. Если у них второй заряд — он ещё не поставлен, и мы про него не узнаем. Я снимаю этого, а второй бросает свой у соседнего быка и уходит, и мы получаем на переправе неизвестно что в неизвестном месте.

Юдин дышал часто.

— А если он сейчас включит?

— Тогда мы опоздали, и стрелять всё равно поздно. — Я не отпускал. — Смотри. Второй пошёл.

Второй немец действительно двинулся дальше — не к третьему быку, а вбок, наискось, вниз по течению.

Он шёл ровно на нашу скатерть.

Он шёл по ней легко, потому что она была гладкая, и, наверное, был доволен, что попался такой хороший участок без заструг. Он прошёл по краю пятна шагов десять — по тому самому краю, где лежали три комка смёрзшегося снега на линии от левого быка к нашей коряге.

Я отпустил рукав Юдина.

— Осипов, — сказал я лежавшему в двух шагах связисту. Я говорил очень тихо, почти не разжимая губ, хотя до немцев было триста метров и слышать меня они не могли. — Осипов, слышишь?

— Слышу.

— На льду четверо. Двое сапёры, ставят заряд у среднего быка. Один прикрывает с середины, один у кустов на их берегу. Понял?

— Понял. Заряд у среднего быка.

— Передавай дальше: на переправе минирование, возможен подрыв в любую минуту. Нужна артиллерия, срочно. Цель ближняя, дистанция от берега триста—четыреста.

Я на секунду замолчал, потому что мне нужно было сказать следующее правильно и с одного раза.

Дальний берег у них был выше нашего и всё видел. Любое орудие, которое выкатят на наш гребень, они увидят раньше, чем оно развернётся, и накроют его вместе с расчётом — им до него метров восемьсот, а они там сидят не первый день.

Но ниже гребня, ближе к воде, берег шёл уступом. Я ночью в темноте проходил по нему и запомнил ногами: там было понижение, ложбина, из которой не видно всего створа, зато отлично видно средний бык и подходы к нему. Оттуда цель — вот она, рукой достать, прямой наводкой, и при этом сама позиция закрыта от их наблюдателей гребнем.

— И ещё, — сказал я ему. — Самое главное. Передай батарею: орудие увести с гребня, под береговой излом. Оттуда видна ближняя цель, прямой наводкой.

Глава 3



Осипов прижимал трубку плечом, прикрывая микрофон рукавицей. Я следил за рекой и ждал ответа.

— Передал, — сказал Осипов через полминуты. — Спрашивают, кто у аппарата и кто даёт указания расчёту.

Одного описания позиции им было мало. Хотели знать, кто берётся её показывать.

Я лежал за выворотнем в тридцати шагах от уреза, а Юдин лежал рядом, уже не порываясь стрелять. Первый немецкий сапёр на льду возился у второй справа сваи — опустился на колено, что-то приладил, потом выпрямился, оглянулся на свой берег и махнул рукой. Второй стоял выше по течению, широко расставив ноги, и водил перед собой длинным шестом. Он шёл ровно на промоину, ту самую, край которой мы ночью отметили тремя комками мёрзлого снега.

— Скажи им, — сказал я Осипову, — что говорит Гринёв, второе отделение, старший над постом. Что я наблюдаю обе цели. И что орудие идёт по открытому гребню и его видно с той стороны.

Я тогда ещё не был сержантом. Я был кем угодно — старшим над двенадцатью человеками по молчаливому согласию Бортникова, — но в трубку надо было назваться хоть как-то, и я назвался так, как проще запомнить. За это со мной потом разберутся. А сейчас по гребню, по чистому, вылизанному ветром снегу, шла пушка, и её волокли восемь человек, и я видел их отсюда, снизу, чёрными на сером — значит, и немец на своей стороне видел.

Ночь мы провели скверно. Грелись посменно в рыбацкой землянке, где пахло старой чешуёй и мокрым мхом; Хвостов протопил её так, что у самой печки было жарко, а в двух шагах изо рта шёл пар. Прокудин к утру всё же начал кашлять. Дёмина с больной кистью оставили

при кухне. Сапоги были сухие — те самые, сорок пар, за которые мы ещё вчера дрались с бумагами, — и это оказалось единственным, чего у нас в достатке.

Пушка на гребне остановилась.

Не потому, что до неё кто-то добежал, — а сама. От неё отделилась фигура и пошла вниз по откосу, к нам, быстро и совершенно открыто.

— Ложись, — сказал я вполголоса, когда фигура была ещё шагах в двадцати. — Ложись, на тебя оттуда смотрят.

Она легла. Именно легла, а не упала: подогнула колено, опустилась на бок и съехала ещё метра три, уже правильно, за гребешок наддува. И сказала оттуда негромко, спокойно, будто мы продолжали вчерашний разговор:

— Вы Гринёв? — спросила она, отряхивая набившийся за ворот снег.

— Я, — ответил я, не поднимая головы.

— Лейтенант Самойлова, командир взвода. С того берега по этой стороне бьёт пулемёт?

— В амбразуре, — сказал я. — Метров триста сорок, левее сухого куста, в нижнем венце у обрыва. Молчит второй час. Я думаю, он ждёт, пока сапёры кончат, и тогда откроет.

Она помолчала.

— А почему триста сорок?

— Потому что мы ночью промерили шагами проход до промоины и оставили незаметные отметки. Дальше до куста я взял на глаз. Это прикидка, не точный промер.

Теперь я её разглядел. Маленькая, в полушубке не по росту, шапка завязана под подбородком, лицо обветренное до красноты, глаза злые и очень внимательные. На поясе планшет, на планшете пятно от чего-то жирного. Лет двадцати пяти, может, меньше.

Самойлова оглянулась на застывший расчёт и махнула вниз: ждать в укрытии.

— У меня сорокапятка. По площади тут не ударишь, нужна видимая цель в прицеле. Сначала покажите вашу выемку — что я оттуда увижу.

— Пойдёмте покажу.

— Не вместе. Вы первый, я через двадцать шагов.

Вот это мне и понравилось в ней больше всего за то утро.

Береговой излом был ниже по течению, метрах в полуторах: река там подмывала глину, берег отваливался кусками, и между двумя выступами оставалась короткая выемка, словно от ножа в буханке. Я выполз туда на локтях. Она пришла следом, легла рядом, стянула рукавицу и приложила ладонь козырьком.

— Так. Куст вижу. Обрыв вижу. Амбразуру не вижу.

— Она в тени. Подождите, пока он шевельнётся.

Мы ждали. С реки тянуло стывшим, пахло мокрым деревом и почему-то дымом, хотя дыма нигде не было. Сапёр у сваи опустился на колено второй раз.

— Вон, — сказала Самойлова. — Тёмное, продолговатое, чуть ниже среза. Он подсыпал перед ним снег, чтобы сгладить край, и снег теперь другого цвета, чем обрыв. Прямая видимость есть. — Она опустила руку. — Теперь плохое. С этого места мой ствол смотрит вот сюда. А вот здесь у вас лежат люди.

Я посмотрел, куда она показывала подбородком, и внутри у меня всё опустилось. Она была права. Линия от излома к амбразуре шла прямо над камышовым клином, где лежали Юдин с Прокудиным.

— Значит, двигать оружие, — сказал я.

— Куда? Влево — уйдёт видимость, там выступ. Вправо — я вылезу за излом и стану видна тому самому наблюдателю, от которого вы меня прячете.

— Вправо на четыре шага, — сказал я. — Там выступ не кончается, там он опускается ступенькой. Я ходил по нему ночью с щупом. Давайте я пройду и встану, а вы посмотрите от куста, видно меня или нет.

— Идите пригнувшись, как пойдёт наводчик. Не как на смотру.
Я прошёл четыре шага полусогнутый, изображая человека, толкающего станину, и присел.

— Голова торчит, — сказала она с места. — На полголовы. Стоя работать нельзя. С колена и ниже.

— Расчёту годится?

— Расчёту неудобно. Но годится. Ползите назад.

Я сполз под защиту выступа.

Она чуть приподняла голову за выступом, примеряясь, и вдруг ткнула пальцем в снежный намет перед изломом:

— Вот это мешает. Не весь, а эта грива. Она мне закроет нижнюю треть.

— Хвостов! — позвал я не громко, а ровно, чтобы голос ушёл вдоль берега, а не вверх.
— Лопату сюда.

Он пришёл через минуту, с лопатой и с тем самым своим видом, с каким берёт в руки любой инструмент: будто инструмент ему чем-то обязан.

— Снять гриву, — сказала Самойлова. — По линии от моей руки вон до того обломка. Не глубже штыка. Снег кидать назад, в мёртвое, не вперёд. Свежий отвал впереди с той стороны видно за версту.

Хвостов посмотрел на неё чуть дольше, чем полагается смотреть на лейтенанта, потому что лейтенант был ему по плечо и говорил про снег так, как говорят про работу.

— Понятно, — сказал он, лёг на бок и стал срезать гриву длинными ломтями, откидывая их себе за спину.

Гнездилов, когда услышал, куда её ставят, посмотрел сперва на излом, потом на меня, и лицо у него сделалось такое, будто ему предложили пахать на скаковой лошади.

— Товарищ лейтенант, там развернуться негде. Станины в глину упрутся.

— Упрутся — подрубишь глину, — сказала Самойлова. — Я туда сходила и посмотрела. Иди и посмотри сам, потом скажешь.

Он сходил. Вернулся и сказал:

— Негде, но можно. Только колёса придётся вкапывать, иначе на откате поползёт.

— Вот и вкапывай.

Пушку спустили с гребня на руках. Я думал, будут греметь. Не гремели: старший сержант Гнездилов, чернявый, с обмороженной скулой, командовал одними короткими словами, и они опускали станины и колёса, придерживая, как придерживают ведро в колодце. На последних метрах орудие пошло юзом, его удержали двое, упёршись спинами, и один из них тихо, длинно выругался в снег.

— Хобот левее, — сказал Гнездилов. — Ещё. Стоп.

Осипов уже полз вдоль берега с катушкой, разматывая провод по вчерашней колее от саней — той самой, которую мы ночью нарочно топтали и портили, чтобы она выглядела старой и давно брошенной.

— Аппарат куда? — спросил он меня.

— Не ко мне. Ко мне не надо. Ставь там, откуда тебе видно сваи и слышно меня. Вон в ту ямку под корнем. Чтобы ты мог мне крикнуть и говорить в трубку, не высываясь.

— Понял.

Он устроился под выворотнем, придавил трубку плечом и стал похож на человека, который лёг в снег отдохнуть и заодно решил кому-то позвонить.

Самойлова легла у щита, что-то сказала наводчику Пряхину, и Пряхин начал крутить. Я лежал в трёх шагах и смотрел не на пушку, а на лёд. Первый сапёр отошёл от сваи и тянул за собой что-то тонкое, чего я почти не различал. Второй по-прежнему нащупывал дорогу и был уже близко к нашим снежным отметкам.

— Гринёв, — сказала Самойлова, не поворачивая головы. — Где крайняя пара?

— Юдин с Прокудиным. Вон тот тёмный клин камыша.

— Уберите их назад на пятнадцать шагов и доложите, когда уберёте. Я не стреляю над людьми, которых не вижу.

Мне хотелось сказать, что они лежат ниже линии и я это знаю. Я не сказал. Я пополз к камышам сам, потому что кричать было нельзя, а посылать кого-то — дольше, чем сходить.

Юдин повернул ко мне лицо. У него на брови намёрзло, и он часто моргал одним глазом.

— Назад пятнадцать шагов, оба. Сейчас через вас будет работать пушка.

— А смотреть?

— Смотреть оттуда же, только ниже. И не бросай амбразуру, когда она замолчит. Она замолчит не потому, что кончилась, а потому, что он ляжет.

Они сдали назад, волоча винтовки на локтях, и залегли за старым валом.

Я вернулся и сказал:

— Убрал. Пятнадцать шагов.

— Хорошо. — Самойлова приподнялась на локте. — Орудие к бою. Пряхин, куст видишь? Правее куста, тёмное под срезом.

— Вижу.

Выстрел сорокапятки — звук короткий и сухой, как удар доски о доску, и после него в ушах остаётся тонкий писк. Снаряд лёг выше и правее, выбив из обрыва бурое облако, и я успел подумать, что мои триста сорок были взяты скверно.

— Меньше два. Тот же.

Второй вошёл в тёмное продолговатое, и продолговатое исчезло — не разлетелось, а провалилось внутрь себя, и оттуда пошёл серый дым, как из плохой печи.

Оба сапёра на льду упали. Тот, что стоял у сваи, упал как надо — плашмя, боком. Второй сперва присел, потом побежал обратно, теряя направление, и я успел подумать, что он бежит не туда, где ходил, а туда, где ближе.

— Юдин, по бегущему!

Юдин выстрелил дважды. Сапёр осел на четвереньки, затем снова вскочил и метнулся к ровному снегу у промоины. Я потерял его за торосом: у сваи зашевелился первый.

— Товарищ лейтенант, амбразура не дымит больше, — сказал Пряхин.

— Это ничего не значит, — ответила Самойлова, не отрываясь от бинокля. — Он мог отползти во вторую. Гринёв, у вас кто-нибудь смотрит туда?

— Юдин смотрит. Сейчас пара пойдёт проверять проход у камышей.

— Идите. — Она повернулась к Гнездилову. — А ты пока посмотри ложбину за вторым выступом. Сейчас с того берега ищут мою вспышку, и я не хочу искать дорогу под огнём. Промерь шагами и запомни, где камень.

Гнездилов ушёл смотреть. Я пополз к воде.

Лёд был серый, в наледи, и под сапогом не трещал, а поскрипывал, как новая кожа. Тимохин полз слева и чуть сзади, как ему было велено.

— Хвостов! — сказал я, не оборачиваясь. — Бросай лопату, иди сюда. Твоё дело — провод. Он тянется от сваи к тому берегу, ищи глазами борозду по снегу. Твоё дело не резать и не трогать, а смотреть, чтобы к нему никто не подошёл с той стороны. Увидишь, что лезут, — стреляй, меня не спрашивай.

— А если он сам дёрнет?

— Тогда мы с Тимохиным узнаем об этом первыми, — сказал я.

Сапёр у сваи зашевелился, и я выстрелил в него — без всякого чувства, просто потому, что он лежал в трёх шагах от заряда и рука у него пошла к бедру. Он дёрнулся и больше не двигался. Я подполз ближе и увидел под сваей не ящик, а обшитый брезентом свёрток,

притянутый к бревну проволокой в два оборота; от него уходил в сторону тонкий двужильный провод, чуть присыпанный снегом.

Рядом, в полуметре, валялось то, что немец выронил, когда упал: короткая толстая штука вроде карандаша, наполовину ушедшая в снег.

Я не стал её трогать и не стал говорить вслух, что он не успел. Может, и успел. Может, у него всё было соединено с самого начала, а обронил он другое.

— Тимохин, — сказал я. — Видишь бугор с корягой? Ложись за него и держи подход вдоль камышей. Ближе не подползай. Нам с тобой вдвоём у этой сваи делать нечего.

— А вы?

— А я тут полежу и посмотрю. Иди.

Он пополз. Я лежал за свайей, положив щёку на рукав, и смотрел на брезентовый свёрток с расстояния вытянутой руки. Мины и заряды я знал, мост сам подрывал, но этого соединения под брезентом не видел; провод уходил к противнику, и второго конца у меня не было. Сейчас моё дело — удержать подход для сапёра. Лезть в незнакомую сборку только потому, что уже дополз до неё, означало подменить знание упрямством.

— Осипов! — позвал я вполголоса, зная, что он услышит. — Передай лейтенанту: пехота вышла на лёд, крайняя точка — вторая свая справа. Пусть знает, куда огонь не переносить.

— Передаю.

Тогда и начали бить миномёты.

Первая мина легла на берегу, за нами, и по спине прошло ветром. Вторая — на льду, левее камышей, и я слышал звук, которого до того не слышал никогда: не треск, а долгий тягучий стон понизу, будто кто-то провёл смычком по толстой струне под нами. Лёд принял разрыв и повёл его дальше, в себя.

— Тимохин, лбом вниз! — заорал я и сам вжался в наледь.

Третья и четвёртая легли кучно, у самого камышового клина. Я поднял голову и увидел, как от трещины, пущенной вторым разрывом, отделяется другая, тоньше, и бежит наискось к промоине, будто её ведут по линейке.

И в этот момент я услышал, как Юдин отзывает Прокудина.

Я не видел их — я слышал: короткое, хриплое «назад, назад, за камыш» и возню. Меня резануло. Я поставил их наблюдать. Я не давал команды уходить. Секунду я готов был крикнуть, чтобы вернулись на место.

Потом я ещё раз посмотрел на трещину, которая шла точно туда, где они лежали, и не крикнул.

— Юдин! — позвал я. — Кто у тебя на амбразуре?

— Прокудина отвёл, лёд пошёл! — откликнулся он от камышового края. — Смотрю сам, с сухого!

— Смотри. Правильно сделал.

Это стоило мне усилия, и усилие я запомнил. Не слова — а то, что я не стал возвращать человека на место только потому, что сам его туда поставил.

Хвостов приволок к берегу ящик, с которым ходил, — плотницкий, с гвоздями, скобами и прочим железом, — и я увидел, как под ним оседает наледь и выступает тёмное.

— Хвостов, назад ящик. На берег. Тащи сюда только мелочь: кусачки, шнур, и всё.

Он молча развернулся и уполз с ящиком, вернулся через три минуты с кусачками за пазухой и мотком шнура на плече и лёг там, откуда ему была видна борозда провода.

А из камышей на той стороне пошёл человек. Он видел, что мы отходим, и решил, что место освободилось. Прошёл шагов десять по открытому, пригнувшись, к торчащему изо льда обломку — и Юдин с сухого берега снял его вторым выстрелом.

— Занял место, — сказал Юдин, — и остался.

Эти секунды мне и были нужны. Я подтянулся по борозде к Осипову, взял трубку и сказал:

— Кто там от сапёров есть? Мне нужен человек к двум зарядам под сваями. Провод уходит на немецкий берег, я его не трогал и трогать не буду. Подход указать могу, у меня с ночи промерена полоса.

В трубке подышали, потом чужой голос сказал:

— Идёт к вам младший сержант, сапёрный. Держите ему проход.

— Держу, — сказал я и вернул трубку.

Второго сапёра я нашёл, вернувшись взглядом к снежным отметкам у промоины.

За тремя комками снега, которые мы оставили ночью, было не то чтобы вода, а тёмное стеклянное пятно, на котором не держался снег. Немец подошёл к нему справа, оттуда, где снег лежал ровно и обманчиво, и провалился по грудь.

Он не кричал. Он молотил руками по краю, край обламывался кусками, и каждый раз он оказывался чуть дальше от прочного.

— Тимохин! — крикнул я. — Щуп!

Мы приволокли щуп — длинную еловую жердь с насечками, которую Хвостов вырезал по колесниковой науке, с затёсками через локоть, чтобы мерить толщину и знать, сколько вытянул. Тимохин лёг рядом со мной и вдруг сказал очень твёрдо, чего я от него не ждал:

— Товарищ старший, не надо. По нам кладут, а это немец. Он сюда нашу переправу рвать пришёл.

— Пришёл, — сказал я. — И работал у второй точки. Значит, знает, где третья, если она есть. Держи меня за ремень и упрись сапогами вон в тот вмёрзший корень. Дальше не суйся. Щуп я подам отсюда.

Он подумал секунду и упёрся.

Я лежал на брюхе на самой границе, которую мы ночью прошли щупом, и выталкивал жердь вперёд. Жердь была длинная и ходила ходуном. Я перехватил её за затёску, чтобы мокрое дерево не уехало из ладоней. Немец увидел её и потянулся, но схватил за самый конец, неудачно, и она вывернулась у него из пальцев.

— Halt! — сказал я, потому что больше ничего подходящего не знал. — Beide Hände! Обе руки, обе!

Он понял. Он лёг грудью на жердь и обхватил её обеими руками, и тогда мы с Тимохиным потянули — не рывком, а ровно, и я чувствовал, как он выходит из воды, будто вытягиваешь топляк.

Вылезши, он не смог встать. Мы протащили его на животе до корней; там Тимохин отобрал у него пистолет из кобуры и нож из-за голенища, и мы затолкали его в яму за выворотнем, рядом с Осиповым. Он сидел и стучал зубами так, что было слышно за три шага, и от него шёл пар.

— Живой вроде, — сказал Осипов с сомнением.

— Живой. — Я снял шинель и укрыл ему плечи. — Осипов, кликни сменного из землянки: сухое сюда, срочно.

Через несколько минут принесли одеяло и запасной полушубок. Под прикрытием корней мы сняли с пленного мокрое, завернули в сухое; я забрал свою шинель, уже успев продрогнуть.

Он не курил. Он вцепился в полу шинели и смотрел на нас снизу вверх круглыми светлыми глазами, и минут пять от него нельзя было добиться ничего, кроме дрожи. Потом он сказал сам, первым:

— Wasser. Кальт. Кальт.

— Сейчас будет тебе кальт, — сказал Тимохин.

Я разровнял ладонью снег на бруствере.

— Смотри. Вот берег. Вот река. — Я провёл черту. — Вот свая, первая. Вот вторая, где ты был.

Он смотрел на мою руку. Потом медленно, скрючившись, протянул палец и поставил две точки — и поставил правильно, вторую ближе к камышам.

— Ja, — сказал он. — Zwei.

— А третья? Drei?

Он долго молчал. Потом всё же тронул снег левее, ближе к нашему берегу, и повёл пальцем к основанию камышового клина.

— Drei, — сказал он. — Unter dem Eis. Nicht Pfahl. — И, увидев, что я не понял, показал ладонью плоско, сверху вниз: — Unter dem Eis.

— Не под сваей, — сказал я. — Подо льдом.

Он закивал часто-часто.

Тимохин смотрел на снег с тремя точками, и по лицу его видно было, что там идёт арифметика. Он поднял глаза на меня, потом на немца, и ничего не сказал, только плечи у него опустились.

— Вот тебе и ответ, зачем тащили, — сказал я. — Мы знали две. Теперь знаем, где искать третью. Ковырять её по его слову никто не пойдёт, за этим идёт сапёр. Но искать он будет не всю реку, а вот этот угол.

— Понял, — сказал Тимохин и отвернулся.

Имя пленного я узнал позже, когда сдавал его конвойным: Курт Майер, сапёрный обер-ефрейтор, двадцать четвёртого года. Он назвал его сам, по буквам, и Осипов записал химическим карандашом на обороте телефонного бланка, поклонив грифель.

Броневи́к вышел на немецкий берег в половине девятого.

Он выполз из-за крайних построек — серый, приземистый, с коротким рылом — и встал на съезде, и почти сразу от него потянуло вбок густым белым: они зажгли дымовые шашки вдоль уреза.

— Осипов, трубку.

— Самойлова на проводе.

— Под дымом идут люди, — сказал я. — Человек шесть-восемь, левее машины, вдоль воды. Они идут не к нам. Они идут к проводу. Провод уходит на их берег, и там где-то лежит машинка.

Пауза была короткая, но я успел в неё вложить всё, что думал: сейчас она скажет, что броневи́к важнее.

— Я вижу машину, — сказала Самойлова. — Машина опасна мне. Ваши люди опасны переправе. Что вы просите?

— Первым — по ледяному валу перед ними. Там у берега торосный вал, они идут за ним как в траншее. Не станет вала — вылезут на открытое и попадут к нам под винтовки.

— Вал не станет рвом, — сказала она. — Я его не перережу, я его раскидаю. Дальше ваша работа.

— Понимаю.

— Ориентир?

— От куста с амбразурой влево двадцать. Гребень вала с чёрным вмёрзшим бревном.

— Вижу бревно.

Она ударила по валу. Снег и битый лёд встали столбом и повалились в дым, и в дыму закричали. Второй снаряд лёг туда же, чуть ближе, и вал разошёлся широкой белой раной.

Из дыма выскочили трое и побежали по открытому, забирая вправо, к камышам.

— Юдин, Хвостов, левее бревна по бегущим!

Они начали стрелять; один из троих упал, двое залегли за обломками и дальше не пошли.

А потом броневи́к ударил по излому.

Он бил не наугад — он поймал вспышку. Первый его снаряд лёг перед щитом, и я видел, как расчёт разбросало. Второй прошёл выше и ушёл в глину. Я побежал туда пригнувшись, по своей же борозде, и добежал, когда там уже тащили человека.

Глава 4



Заряжающий лежал на боку, подтянув колени, и снег под ним был не красный, а тёмный, почти чёрный. Гнездилов рвал на нём полушубок, не расстёгивая, а прямо по сукну. Самойлова стояла на колене у станины и говорила — не кричала:

— Вынести за выступ. Гнездилов, брось, тебе к затвору. Гринёв, двоих на носилки и освободите дорогу вон там, между корнями. По прямой не тащить, там открыто.

— Прокудин! Юдин, с носилками сюда! — крикнул я и полез сам раскидывать корягу, перегоревшую проход.

Ковригин встретил их на полпути со своей сумкой, присел над раненым прямо в борозде, посмотрел, покачал головой и всё равно начал бинтовать, и я по этому его движению — начал, хотя покачал, — всё понял заранее.

Самойлова не сказала мне ни слова про вал. Ни тогда, ни через час. Я всё ждал, что скажет, и внутри у меня сидело ровно то, что должно сидеть у человека, который попросил положить первый снаряд не туда, куда снаряд просился сам.

— У меня нет второго номера, — сказала она, вытирая ладонь о полу полушубка. — Кто у вас есть, чтобы подавать? Не заряжать. Подавать.

Я оглянулся. Юдин ушёл с носилками. Хвостов лежал на проводе. Осипов сидел на связи.

— Тимохин, — сказал я. — И Опарин со мной, будет таскать со второй линии.

Опарин, ворча, подошёл первым, хотя звали его вторым, — он всегда так делал.

— Опять железо ворочать, — сказал он. — Я, парень, с четырнадцатого года с оружием, и вот вся моя должность: подай-принеси.

— Кондрат Силантыч, у вас должность будет — смотреть, чтобы парень не убится.

— Ну, это другое дело, — сказал он.

Самойлова оглядела Тимохина с ног до головы.

— Что умеешь?

— Ничего не умею, товарищ лейтенант.

— Хороший ответ. Ящик поднимешь?

— Подниму.

— Смотри сюда. Берёшь отсюда, кладёшь сюда, вот на это место, и отходишь на шаг. Не раньше, чем он скажет «есть». Пока не сказал — стоишь как стоял. К затвору не подходишь никогда, там Гнездилов. Понял?

— Понял.

Первый раз он сунулся раньше, чем надо, и Гнездилов, не оборачиваясь, сказал: «Стой». Тимохин замер с ящиком на весу, красный до ушей, и простоял так секунд пять, пока не услышал «есть». После этого он попал в их счёт и больше не сбивался.

— Меняем место, — сказала Самойлова, когда броневик снова положил снаряд по излому. — Гнездилов, ложбина.

— Проходима, товарищ лейтенант. Двадцать два шага, на выходе камень, обходить слева.

— На руках. Без крика. Гринёв, ваши держат берег, пока мы идём.

Они пошли. Тимохин нёс не станину, а ящик, и шёл по указанному, не вылезая на срез, хотя по срезу было вдвое короче, и я это видел и отметил про себя. На середине пути он вдруг стал и задёргал плечом.

— Что?

— Прилипло, — сказал он сквозь зубы. — Рукавицы мокрые, к ручке примёрзли.

Опарин уже был рядом. Он не стал спрашивать, он просто содрал с себя свои и сунул ему:

— Скидывай. Эти сухие, я их за пазухой держал, как дурак, всё утро. Твои давай сюда, отойдут.

Они опустили ящик на снег. Тимохин выдернул кисти из прилипших рукавиц и надел сухие, а Опарин высвободил мокрые с ручки и сунул за пазуху. Потом вдвоём подняли груз.

С новой позиции Самойлова ждала долго. Броневик ещё дважды ударил по старому месту, по пустому излому, выбивая глину, и я лежал и смотрел, как он старательно разрушает то, чего там уже нет.

— Сейчас он пойдёт назад, — сказала она тихо, больше себе, чем нам. — Ему надо сдать вправо, чтобы уйти за постройки. Как сдаст — покажет борт.

Он сдал. Развернулся почти на месте, показав серый бок с косой полосой грязи, и она взяла его первым же выстрелом под башню. Он проехал ещё немного, боком, как пьяный, и стал, и через полминуты из него пошёл дым, а потом и огонь.

Тимохин стоял с пустыми руками у ящиков и смотрел прямо перед собой, никуда не двигаясь, пока Гнездилов не сказал:

— Следующий давай. Чего встал?

— Так он горит.

— А те, кто с ним шёл, не горят.

Гнездилов был прав: пехота, прикрывавшая броневик, сидела за обломками у вала, и мы её оттуда выбивали ещё минут двадцать. Двоих взяли к полудню, когда они подняли руки сами, и вели их по нашей же полосе, по вешкам, и передний всё оглядывался на промоину, и я подумал, что он-то знает, где она.

Сапёр пришёл в одиннадцатом часу.

Его звали Гриценко, младший сержант, высокий, с бабьим платком под каской, с длинным лицом и медленной речью. Он выслушал меня, посмотрел на снег с моими точками, потом на Майера, сидевшего в яме под конвоем, и сказал:

— А теперь все отсюда отойдите. Кроме него.

И стал расспрашивать Майера сам — через слова, через руки, через рисунок на снегу, — минут десять, по три раза возвращаясь к одному и тому же и всякий раз заставляя показывать заново.

— Значит, так, — сказал он мне после. — Вот отсюда и вот дотуда — граница. За неё никто не ходит. Твои держат тот подход и вот этот, и оба смотрят от себя, а не на меня. Увижу кого ближе того бревна — брошу работу и уйду, и переправы у тебя не будет.

— Ясно. Хвостов, к тому корню; оттуда вытащишь его, если что. Юдин, закрой камышовый клин, немец оттуда уже ходил однажды. Тимохин — назад, на вторую линию, и не высывайся.

— А ты?

— А я буду молчать и не спрашивать, скоро ли.

Хвостов подал сапёру верёвку. Гриценко обвязался, проверил узел; свободный конец Хвостов закрепил у корней и оставил себе достаточно слабины, чтобы не мешать работе.

Он усмехнулся одним углом рта.

Он работал больше часа. Он не прикоснулся к брезентовым свёрткам под сваями — он шёл вдоль борозды провода, сметая снег ладонью, и однажды присел надолго, и я, глядя на его спину, понял, что мне было бы легче ползти к сваям самому.

Полоса, по которой он шёл, была та самая, промеренная ночью. Он спросил про неё в самом начале, и я показал ему затёски на шупе и рассказал, как Колесник, лёжа, чертил мне на доске, что молодой лёд у свай всегда тоньше с низовой стороны: вокруг свай вода вертится и не даёт ему как следует стать.

— Грамотный у тебя знакомый, — сказал Гриценко.

— Он в медпункте. Не встаёт ещё.

Тогда я и увидел человека у первой сваи.

Не человека — след. Я смотрел туда каждые полминуты и знал этот снег наизусть: у свай справа лежала ровная волна, поверх неё старые борозды сапёра и одна наша. А теперь от волны шла свежая зализанная полоса, короткая, на длину тела, и была она не наша.

— Юдин. По первой свае, справа, у корня. Свежая полоса на волне.

Юдин смотрел секунды три.

— Вижу, — сказал он и выстрелил, и сразу ещё раз, и после второго добавил: — Лежит.

Гриценко на льду не поднял головы. Он доделал, что делал, уложил инструмент в сумку и сказал негромко:

— Всё. Тяни.

Хвостов вытянул его на шнуре до корней, а дальше он дошёл сам и сел в снег, часто дыша.

— Линию подрыва разомкнул, — сказал он. — Обе точки с той стороны теперь не работают. Третью, ту, что подо льдом, нашёл, она у самой кромки камыша, там, где он и показал. Она тоже никуда не подключена. Но это не значит, что чисто. Все три свёртка лежат на месте, я их не снимал и один снимать не стану. Место у свай закрыто. Хочешь пускать движение — пускай соседней полосой, и то дай я по ней сперва пройду.

— Дам, — сказал я.

Он вернулся с напарником и буром. Часа в два они прошли соседнюю полосу, измеряя толщину и проверяя выходы; Гриценко шёл, медленно, останавливаясь через каждые пять-шесть шагов, и ставил вехи из наломанного тальника. Я шёл за ним на пятнадцати шагах и смотрел на лёд и видел то, чего на нём ночью не было: две широкие тёмные трещины у камышей, наплывы воды поверх наледи, наши и чужие борозды, красное пятно, вокруг которого снег осел кольцом.

— Лёгкие санитарные сани по этой можно, — сказал он на том берегу. — По одному возу, интервал двадцать шагов, не съезжать. Тяжёлый обоз — только после отдельной проверки. И каждый день смотреть заново. Она тебе не мост.

Майера увели в третьем часу. За ним пришли двое из штаба батальона, с ними — красноармеец с винтовкой и сонными глазами. Майер встал не сразу: у него отекали ноги в мокрых сапогах, и он всё пытался встать, опираясь ладонью о стенку ямы, и соскальзывал.

Конвойный помог ему запахнуть выданный полушубок. Под ним, на груди, висела на шнурке круглая штука вроде медальона. Он перехватил мой взгляд и прижал её ладонью, и я махнул рукой: пусть.

— Обер-ефрейтор Майер Курт, двадцать четвёртого года, сапёрный, — прочитал по бланку старший из пришедших. — Показания какие?

— Три точки показал, — сказал я. — Две подтвердились сразу, третью нашёл наш сапёр там, куда он ткнул. Больше я у него ничего не спрашивал, не моё дело.

— Правильно, что не спрашивал.

Тимохин стоял в стороне и смотрел, как немца уводят вверх по спуску, и Майер один раз оглянулся — не на нас, а на реку, на пятно промоины.

— Товарищ старший, — сказал Тимохин, когда они скрылись за перегибом. — Я утром неправильно сказал. Про то, что не надо.

— Правильно сказал, — ответил я. — Ты сказал то, что думал, и сказал раньше, чем я полез. Если бы я полез неверно, ты бы меня удержал. За это и держат рядом человека.

Он подумал.

— А если бы он нас утянул обоих?

— Тогда бы мы сейчас об этом не разговаривали, — сказал я. — Иди поешь, пока каша тёплая.

Санитарные сани пришли часу в четвёртом, под низким серым небом. Возница был пожилой, сердитый, с намотанным на лицо шарфом, и первым делом взял наискось, чтобы срезать угол.

— Стой. — Я поймал лошадь под уздцы. — Видишь прут с тряпкой и следующий? Вот между ними и правь. Держи на берёзу с обломанной верхушкой, она тебе как раз выйдет на выезд. Свернёшь — сядешь, и я тебя буду вытаскивать по тому же льду, и мы оба намокнем.

— Ладно, ладно, — сказал он. — Чего сразу-то.

— Он не сразу, — сказал Ковригин из саней. — Он весь день.

Я стоял и смотрел, как сани идут по льду — не серединой, не под берегом, а той полосой, которую мы промеряли ночью и промерили заново днём, — и как они выходят на санный спуск, и как там их принимают двое в белых халатах. Второго возницу я придержал, пока первый не вышел. Потом пустил второго. Потом сел на корень и обнаружил, что у меня трясутся руки, и сунул их под мышки, как тогда после штурма на паперти.

Самойлова подошла, когда прошли четвёртые сани.

Она села рядом, вытянула ноги, стянула шапку и потёрла лоб ладонью. Волосы у неё были прижаты и мокрые.

— Ваш телефонист хорошо работает, — сказала она. — Дважды передал мне то, чего я не спрашивала, и оба раза это было нужно. Фамилия?

— Осипов. Илья.

— Я попрошу его к батарее на следующую операцию. Не насовсем, на время. — Она посмотрела на меня сбоку. — Сейчас скажете, что он вам нужен.

— Нужен, — сказал я. — Но скажу другое: на какой срок и кому он там подчинён. И у него в отделении должен остаться человек, которого он сам натаскает, иначе через неделю я останусь вообще без провода.

— Разумно. Пусть назовёт помощника и что ему из имущества нужно, я подам заявку. — Она помолчала. — Гринёв, про вал.

Вот оно, подумал я.

— Я приняла ваше предложение, — сказала она, — потому что вы назвали ориентир, который я вижу, и не стали объяснять мне, как стрелять. Из-за этого мы дважды показали вспышку прежде, чем занялись машиной. За это я заплатила Ковалёвым. Я не говорю, что вы были не правы. Я говорю, что счёт вам надо знать точно. И фамилию тоже.

— Ковалёв, — повторил я.

— Николай Степанович, из Кинешмы. Стоял у ящиков, где потом стоял ваш Тимохин.

Я не сказал, что мне жаль. Это были бы её слова, а не мои: я его не знал.

— Я запомнил, — сказал я.

— Вот и хорошо. — Она надела шапку. — А парень ваш с ящиками годится. Один раз сунулся раньше и потом не сунулся ни разу — это всё, что от него требовалось.

В медпункт я пошёл уже в темноте, потому что нёс туда пустой термос с кухни и потому что хотел увидеть Колесника.

После боя передовой медпункт развернули в избе за оврагом; Колесник оставался в школьном помещении дальше от реки. Я сперва зашёл к дежурному. Окна были завешены одеялами, внутри пахло карболкой, мокрой овчиной и кислым хлебом. Ковригин сидел у входа на табурете и чинил ляжку своей сумки суровой ниткой.

— Артиллерист ваш помер часа полтора назад, — сказал он, не поднимая головы. — В сенях лежит. Хирург сказал, что и на столе бы не вытянули: у него всё внутри перебило.

— Ясно.

— Ты сядь, Гринёв. На тебе лица нет.

— Мне не надо садиться, — сказал я и всё-таки сел.

До школы я дошёл уже после этого разговора. Колесник лежал у стены, под самым одеялом, и когда я подошёл, он открыл глаза не сразу, а сперва пошевелил пальцами, будто проверял, где он.

— Держал лёд? — спросил он.

— Держал. По той полосе, что ты чертил, прошли четверо саней с ранеными.

— У свай смотрели с низовой стороны?

— Смотрели. Там и было тонко. Немец в промоину сел, ту самую, что ты велел обойти.

Он полежал, глядя в потолок.

— Хорошо, — сказал он. — Значит, доска не зря.

— Тебе чего принести?

— Бумаги принеси, если найдёшь. Я тут лежу и в голове черчу, а через день забываю, что начертил. — Он помолчал. — И не ходи каждый день. Ты мне лучше Расскажи потом, где вы будете переходить весной, когда река тронется. Вот тогда я тебе пригожусь.

Возвращаясь, я снова свернул к передовому медпункту. В сенях, на двух сдвинутых лавках, под шинелью лежал артиллерист Ковалёв. Самойлова стояла над ним с фонарём и раскладывала на подоконнике его вещи: ремень, кисет, бритву в тряпице, две фотографии и письмо, сложенное треугольником и не отправленное. Она делала это медленно и очень ровно, как раскладывая на столе карты, когда хотят выиграть время.

— Николай Степанович, — сказал я.

— Да, — сказала она, не оборачиваясь. — Николай Степанович.

Мы постояли молча. Потом она погасила фонарь, чтобы не жечь керосин зря, и мы вышли на мороз, и там она сказала:

— Завтра с утра пришлите ко мне вашего связиста, я запишу, что ему нужно. И сами приходите, когда будет разбор. Я не хочу, чтобы схему за нас двоих рисовал кто-то третий.

Между тем днём и тем вечером, когда приехал Лавров, прошло недели три, а может, и больше — я перестал точно считать, потому что дни в феврале одинаковые и отличаются только тем, кого в них не стало.

Мы стояли на этом берегу и держали переправу. Гриценко приходил ещё дважды и один раз ругался на весь лёд, потому что кто-то из обозных съехал с полосы и пробил наледь: сани вытащили, лошадь вытащили, а колею испортили так, что пришлось вешки переставлять. Свёртки из-под свай сняли только в конце месяца, и меня при этом не было — нас за два дня до того подняли и увели за семь километров, на другой участок, откуда мы потом вернулись обратно, потеряв двоих ранеными и одного, Ерохина, из последнего пополнения, убитым.

Про Крамера мы больше ничего не слышали. Баранов однажды сказал, что через мельницу прошёл человек с перевязанной рукой и уехал на санях в сторону Сычёвки, но это был уже пятый такой рассказ, и все они были про перевязанную руку, и ни один не кончался фамилией.

Осипова забирали к батарее дважды. Перед первым разом он полдня натаскивал Дёмина: заставлял того сращивать провод в рукавицах, потом без, потом в темноте, и ругался тихо и обидно, как умеют только связисты. Дёмин обижался, но научился.

В середине февраля меня догнало письмо от Александры Тимофеевны. Оно шло долго, через два обоза, и было короткое: у них приняли за сутки сто двадцать человек, она третьи сутки не снимала халата, и в конце стояло, что ложек в отделении опять нет ни одной, все куда-то расходятся, и что если я обещал ложку, то пусть это будет не разговор, а ложка.

Я в ту ночь дежурил у переправы и писал ответ на колене, подложив планшет, огрызком карандаша, который всё время ломался. Написал, что жив, что люди у меня целы, кроме тех, кто не цел, что переправу держим и что сапоги сухие — ей это почему-то было важнее всего остального, она про сапоги спрашивала в каждом письме. Про лёд и про то, кто под ним лежал, писать не стал.

А ложку я взял у Хвостова: он выстрогал мне её из берёзового обрубка за два вечера, круглую, с коротким черенком, и сказал, что черенок короткий нарочно — чтобы не перекладывали в чужой карман.

— Ты её маслом протри, — сказал он. — А то рассохнется и треснет вдоль.

Хвостов на черенке вырезал три неглубокие точки — чтобы не спутали. Я протёр ложку и завернул в тряпицу и положил во внутренний карман, туда же, где лежал гребень.

Тимохин, к моему удивлению, стал показывать новеньким, как поднимать и ставить ящик. Он ставил их в снегу на своём собственном месте у воображаемой пушки и говорил: «Не раньше, чем скажут. Пока не сказали — стой», — и, когда один из новеньких сунулся раньше, сказал ему «стой» ровно тем голосом, каким Гнездилов говорил ему самому. Он и рукавицы у них проверял, и один раз отобрал у парня мокрые и погнал сушить, и парень ворчал, а Опарин слушал и хмыкал в сторону.

Я в эти занятия влезал редко. Только тогда, когда кто-нибудь заходил другому под ноги или начинал показывать не то, чего сам не пробовал.

Лавров приехал в первых числах марта, с утра, когда мы как раз кончали такое занятие на снегу. Юдин отрабатывал с четырьмя смену сектора, Тимохин со своими ящиками стоял чуть дальше, и я стоял между ними, засунув руки в рукава, и мёрз.

— Гринёв, — сказал Лавров. — Ко мне.

В землянке он положил на стол бумагу, повернув её ко мне, и придавил край варежкой, чтобы не свернулась.

Я прочитал свою фамилию. Она стояла четвёртой в списке, и рядом с ней стояло «сержант».

Странная вещь: я думал, что почувствую хоть что-нибудь. Я стоял и думал только о том, что теперь Бортникову не придётся всякий раз объяснять кому-то, почему за отделение отвечает человек, который ни в каком качестве за него не отвечает.

— Спасибо, товарищ майор.

— Не мне спасибо. — Лавров сел и растянул ворот. — Теперь второе. При штабе освободилась комната. Сухая, с печкой. Хочу тебя туда посадить — не писарем, не бойся. Инструк-

тором. У нас через пять дней дело, и в него пойдут люди, которые ни разу не работали ни с сапёром, ни с пушкой на прямой, ни с телефоном. Половина из них ляжет на первом же льду, если им это показывать в бою, а не до боя. Ты у переправы работал со всеми тремя. Вот и показывай.

— А отделение? — спросил я.

Он посмотрел на меня внимательно.

— Отделение останется за тобой по приказу. Но бывать ты в нём будешь урывками. Я говорю честно, чтобы ты потом не кричал, что тебя обманули.

— Я не о том, товарищ майор. Я о том, кто с ними будет, пока я показываю чужим. У меня из двенадцати четверо пришли на прошлой неделе, и один ещё держит винтовку как грабли.

— Вот и решай. — Он положил на угол стола ключ — обыкновенный, амбарный, на верёвочке. — Комната сухая. Решай до вечера.

Тут откинулся полог, и вошёл Погодин, и от него пахло морозом и махоркой, и в руках у него была пачка почты, перетянутая бечёвкой.

— Товарищ майор, разрешите. Гринёв, тебе. Гоняли конверт, гоняли, — вон, видишь, сколько штемпелей, — и всё-таки догнал.

Погодин передал конверт, подобрал пачку и вышел к следующей землянке.

Конверт был серый, обтрёпанный по углам, надписанный крупным старательным наклонным почерком — так пишут люди, которые давно не писали. Обратный адрес стоял тот самый, эвакуационный, что нам вернули на обороте зимой и что я потом вписал своей рукой.

Я положил приказ на стол, чтобы освободить руки, и сел на чурбак у печки, и долго не мог подцепить ногтем склеенный край.

Ключ лежал на углу стола и тускло поблёскивал.

— Читай, читай, — сказал Лавров и отвернулся к своим бумагам.

«Здравствуйте, дорогой товарищ Андрей Кузьмич», — было там написано, и дальше — что она получила и карточку, и вещи, и что за правду спасибо, потому что казённая бумага пришла раньше и в ней не было ничего, кроме слов «пал смертью храбрых», а она хотела знать, как он лежал и кто при нём был.

А в конце, уже мельче, потому что кончался лист, стояло:

«Вы написали, что он бежал первым. Это я и без вас знала: он и в школу первым бежал, и за обедом первым к чужому столу. Вы мне напишите не про то, как он погиб, а про то, какой он был там у вас. Или приезжайте когда-нибудь и расскажите сами. Я подожду, сколько надо».

Я сложил лист по старым сгибам и сидел, держа его в обеих руках, и слышал, как трещит в печке, и как за пологом Тимохин кричит кому-то на снегу:

— Не раньше! Пока не сказали — стой!

Лавров поднял голову от бумаг и подвинул ключ ещё на палец ко мне.

— До вечера, — сказал он.

Глава 5



Когда Лавров ушёл к связистам, я ещё раз перечитал письмо, сидя на чурбаке у печки. Потом встал: на снаряжном ящике лежала схема переправы, которую я утром разложил перед занятием, и её надо было взять в штаб.

Мать Гнутова писала круглым, старательным почерком человека, который пишет редко и оттого выводит каждую букву как на уроке. Благодарила за правду. Просила не считать, что она плачет: плакала, мол, в ноябре, а теперь хочет знать. И в конце спрашивала, не сможет ли когда-нибудь товарищ Гринёв рассказать сам, лично, каким Федя был, — потому что из бумаг ей приходит только, каким он стал в последний час.

Ключ я переложил со стола на схему. Маленький, с плоской головкой, к нему суровой ниткой была привязана бирка с номером «4». Лавров оставил его мне десять минут назад, сказал: «Комната сухая. Решай до вечера», — и ушёл к связистам, не дожидаясь ответа, потому что знал, что я ничего быстрого не отвечу.

Я сложил письмо в четвертушку, сунул за пазуху, к гребню, и взял ключ. Металл был холодный и почему-то жирный на ощупь — видно, лежал где-то в ящике вместе с инструментом.

— Гринёв, — сказал от входа Осипов, просовывая голову и плечо, но не всего себя, потому что снаружи он держал катушку и не хотел затаскивать её в тепло. — Товарищ сержант. Лейтенант Самойлова пришла в штаб, спрашивает вас. Со схемой.

Слово «сержант» он выговаривал ещё с усилием, как чужую фамилию.

— Иду, — сказал я. — Осипов, ты записи вызовов сохранил? С того боя, с половины седьмого.

— Сохранил. — Он полез свободной рукой за пазуху и вытащил тетрадку в клеёнке, разбухшую от сырости по нижнему обрезу. — Тут не всё дословно. Где успевал — дословно, где нет — время и суть.

— Время и суть — это и нужно.

Я сложил схему по сгибам и сунул в планшет. Осипов убрал тетрадь и пошёл со мной, оставив катушку сменному.

В штабной избе было натоплено до духоты, пахло махоркой, сырым сукном и подгоревшей кашей. Лавров сидел за столом в одной гимнастёрке, с расстёгнутым воротом, и уже писал — быстро, мелко, привычной рукой человека, который за войну исписал больше бумаги, чем выстрелил патронов.

Самойлова стояла у стены, а не сидела, хотя табурет был свободен. Шинель на ней была застёгнута, шапка в руке. Лицо после двух суток нынешнего дежурства на льду держалось на одной злости, и я это узнавал — сам в таком состоянии бывал.

На краю стола лежал свёрток: шинельная скатка, перетянутая ремнём, поверх — суконный шлем и рукавицы, одна с прожжённой ладонью. Вещи заряжающего.

— Садитесь, оба, — сказал Лавров, не поднимая головы. — Я вас долго не задержу. Через пять дней начинается, и мне надо всё это закрыть сегодня.

— Товарищ майор, — сказала Самойлова. — Фамилия — Ковалёв. Николай Степанович. Я прошу, чтобы она была в тексте, а не в списке приложения.

— Будет. — Лавров дописал строку, поставил точку и наконец посмотрел на нас. — Слушайте, что у меня сейчас на бумаге. «Сержант Гринёв, находясь на льду, обнаружил подготовку переправы к подрыву, организовал взаимодействие с приданной артиллерией, корректировал огонь по броневикам противника и обеспечил сохранение переправы». Коротко и проходит. Возражения есть?

— Есть, — сказал я.

Он положил перо и откинулся, и в этом движении не было раздражения — скорее, усталое любопытство. Я уже видел это у него: он не любил, когда возражают, но ещё больше не любил подписывать то, что потом развалится.

— Говорите.

— Огонь по броневикам я не корректировал, товарищ майор.

— А в донесении написано — наблюдал.

Я развернул схему — ту самую, с блиндажа, — и разложил её на столе поверх его бумаг, за что получил короткий взгляд, но Лавров бумаги не убрал.

— Вот сваи. Вот камыш. Когда машина показалась, я был здесь, у связиста, и видел её выход. Попросил ударить по ледяному валу перед пехотой. А потом мы таскали раненого и помогали менять позицию. — Я провёл пальцем по нашей борозде. — Отсюда мне часть берега закрывал выступ. Борт, момент выстрела — всё это выбирала Самойлова. Я уже после увидел, как машина стала и загорелась. Это не корректировка.

— Так, — сказал Лавров и зачеркнул слово.

— Если это записать на меня, выйдет, что она ждала моей команды. Она её не ждала.

Лавров перевёл взгляд на Самойлову.

— Подтверждаете?

— Подтверждаю, — сказала она и подошла к столу. Нагнулась над схемой, опершись обеими руками. — Машина вышла около половины девятого. Мы сперва били по валу: пехота шла к проводу под дымом. Гринёв назвал видимый ориентир, решение приняла я. На два выстрела ушло время, а броневик засёк вспышки.

Лавров поставил отметку у излома.

— Дальше что произошло?

— Ударил по позиции. Выбило заряжающего, Ковалёва, осколками в живот. Его вынесли. К затвору встал командир орудия Гнездилов, подачу я дала Тимохину. Потом ушли во вторую ложбину, которую Гнездилов успел проверить. Вот там я дождалась борта машины. Четыре минуты от первых выстрелов по валу до смены места — их мне потом припомнят, если найдётся охотник.

— Запишем, на что они ушли, — сказал Лавров.

— Он же мокрый весь был, — сказал я, вспомнив. — У него рукавицы к металлу прилипали.

— Опарин ему свои отдал, сухие, — сказала Самойлова. — Это тоже надо записать? — Она перестала водить пальцем по схеме. — Это же мелочь.

— Это не мелочь, — сказал я. — Если бы он бросил ящик, вы бы не выстрелили.

Лавров молча пододвинул к себе чистый лист.

— Осипов, — позвал я в сторону двери, и связист вошёл, стянув шапку, прижимая мокрую тетрадь к груди. — Прочти по времени. С шести тридцати.

Он открыл клеёнку и стал читать, спотыкаясь на собственных сокращениях:

— Шесть тридцать две — «увести орудие с гребня, под излом». Дальше выстрелы по амбразуре, вызов сапёра. Восемь тридцать две — «машина на берегу, дым». Восемь тридцать четыре — от батареи: «даю по валу». Восемь тридцать шесть — «у артиллеристов раненый, носилки». Потом смена места. Восемь сорок одна — от батареи: «машина поражена».

— Не раненый, — сказала Самойлова.

— Тогда я так передал, — сказал Осипов и покраснел до ушей. — Мне так сказали.

— Правильно передал. — Она отвернулась к окну, где вместо стекла была фанера, и потому смотреть было не на что, но она всё равно смотрела. — Он ещё дышал.

Лавров писал минут двадцать. Он останавливался, переспрашивал, зачёркивал. Один раз сказал: «Так, а теперь дайте мне фразу, которую я смогу произнести вслух перед командиром дивизии и не покраснеть», — и мы вдвоём с Самойловой эту фразу ему собирали из кусков.

Вышло не коротко. Вышло на полтора листа, с тремя фамилиями расчёта, с Тимохиным, с Опариним и его рукавицами, с моим отделением и с честной пометкой, кто наблюдал движение и кто выбирал момент выстрела.

— Подписывать будете завтра, — сказал Лавров, дуя на последнюю строку. — И учтите оба: это представление. Не награда. Между ними — штаб дивизии, переформирование и неизвестно что ещё. Я вам ничего не обещаю, кроме того, что бумага уйдёт наверх с именами, а не с одной фамилией.

— Этого достаточно, — сказала Самойлова.

Мы вышли на воздух вместе. Было около полудня, небо стояло низкое, войлочное, снег под ногами скрипел коротко и сухо. Она прошла шагов десять и остановилась.

— Гринёв. Мне надо написать домой Ковалёву. Жене. У него жена в эвакуации в Балашове и двое детей; сам он из Кинешмы.

— Пишите.

— Я третий раз сажусь и третий раз рву. — Она достала из кармана шинели сложенный лист, уже помятый, с загнутым углом. — Прочтите. Вы человек со стороны, вам будет видно. Я развернул. Почерк у неё был твёрдый, с наклоном вправо, без завитков.

«Ваш муж, Николай Степанович, погиб как герой, спасая переправу и жизни сотен бойцов, которые прошли по ней на следующий день».

Я остановился на словах «спасая жизни» и прочёл их ещё раз.

— Тут можно понять не так, — сказал я.

— Почему нельзя? — Она вскинулась мгновенно, и я понял, что она ждала этого и заранее приготовилась драться. — Разве не так было? Переправу сохранили? Сохранили. Батальон прошёл? Прошёл. Что здесь неправда?

— Само «спасая» — правда, — сказал я. — Только из этой строки не видно, что именно он сделал. Переправу спасли человек сорок. Пряхин ваш её спас, наводчик. Тимохин её спас, когда ящики таскал. Сапёр её спас, когда провод разомкнул. Я тоже кусочек. А у вас вместо его работы общие слова, какие любому можно написать.

— Ему уже всё равно.

— Ей — нет. — Я вернул ей лист. — Вера Игнатьевна. Она это письмо будет читать двадцать лет. И дети будут читать. И придёт когда-нибудь кто-то из ваших, живой, и скажет что-нибудь про тот день, и она сравнит. И если не сойдётся, она решит, что ей соврали про всё. И про то, что он не мучился, тоже решит, что соврали.

Самойлова долго молчала, глядя на лист.

— А он мучился, — сказала она.

— Про это писать не надо.

— Вот. — Она усмехнулась кривовато. — Значит, всё-таки не всю правду.

— Не всю, — сказал я. — Но и не красивее, чем было. Напишите, что он делал. Он у затвора стоял, когда по позиции ударило? Стоял. Напишите: «Он работал у орудия под огнём и не отошёл от него. Когда его ранило, его вынесли товарищи, он был жив, его несли к медикам». Это она проверить сможет у любого, кто вернётся. И это не хуже вашего «героя», это тяжелее.

Она отошла к сугробу, положила лист на планшет и стала переписывать, стоя, дуя на пальцы. Я ждал. Мимо прошёл наряд с термосами, кто-то сказал: «Товарищ лейтенант, здоровья желаю», — она кивнула, не отрываясь.

— Читаю, — сказала она наконец. — «Ваш муж служил у орудия заряжающим. В бою за переправу он заряжал орудие под обстрелом и не ушёл с позиции, когда по нам стали бить прицельно. Он был тяжело ранен осколками. Его вынесли на руках наши бойцы, он был ещё жив, его донесли до медиков. Я командовала этим орудием и находилась в трёх шагах от него». Дальше про детей. Так?

— Последнее уберите.

— Что?

— «Я находилась в трёх шагах». — Я смотрел не на неё, а на дорогу. — Вы это для себя пишете, не для неё. Вы у неё прощения просите, что живы.

Она дёрнулась так, будто я её толкнул.

— Вы много себе позволяете, сержант.

— Позволю, — согласился я. — Не пишите. Или напишите, но не там. В конце, отдельно, когда про детей спросите. А в том месте, где про его смерть, не надо ей вас. Там должен быть он один.

Самойлова смотрела на меня секунд пять, и я успел подумать, что сейчас получу по полной. Потом она вычеркнула строку одним движением, коротким и злым.

— Ладно, — сказала она. — Ладно, Гринёв. Вы редкая сволочь, но вы правы.

— Бывает.

Она достала из планшета схему: перед выходом из штаба забрала её, чтобы дописать время смены позиции. Положила на мой планшет, показала добавленную стрелку.

— Схему берите, дополненную. — Она застегнула свой планшет. — И вот что. Мне через пять дней тащить орудие через лес на тот берег, и я не представляю как. Мост там гнилой. Но об этом отдельно. Завтра к вечеру зайду, с мостовиком, если у вас будет где сесть.

— Будет, — сказал я и почувствовал в кармане ключ с биркой.

Вешку в лёд поставили Хвостов с сапёром ещё вчера — сосновая жердь с привязанным куском красной байки, и таких вешек по колее стояло одиннадцать штук, я считал. Колея шла не прямо, а дугой, уходя от свай метров на сорок вниз по течению, потому что у свай была промоина, та самая, в которую провалился немецкий сапёр.

К часу дня по спуску пошёл обоз.

Я стоял на береговом изломе и смотрел, как они входят на лёд: сани, сани, потом повозка с бочкой, потом опять сани. Старший шёл пешком у головной лошади. Первые четверо прошли по колее правильно, и я уже подумал, что мне тут и делать нечего.

Пятый возчик свернул.

Он свернул не со зла — я по спине видел, что он просто решил не идти дугой, когда напрямик до того берега было вдвое ближе, а лёд там лежал ровный, синеватый, гладкий, без единой трещины на вид, и снегу на нём почти не было — сдуло.

— Стой! — крикнул я и пошёл по откосу вниз, оскальзываясь. — Обоз, стой! Шестой, седьмой — стоять на берегу!

Возчик натянул вожжи. Лошадь стала боком, сани повело. Старший у головной подводы крикнул придержать колонну; возчик слез, выровнял лошадь за уздцы и передал её подошедшему ездовому.

— Ты чего орёшь? — сказал он не грубо, а с обидой; был он немолодой, в треухе, с заиндеветыми усами. — Я ж вижу, где лёд. Я, милый, на реке вырос.

— Вижу, что вырос, — сказал я, подходя. — Слезь с саней и пройди со мной десять шагов. Только за мной след в след.

— Чего ходить-то.

— Слезь.

Подошёл старший обоза, немолодой старшина с заспанным сердитым лицом, и сразу начал:

— В чём задержка? Мне к четырнадцати ноль-ноль на том берегу быть, у меня крупа и...

— Две минуты, товарищ старшина. Пойдёмте оба.

Я провёл их по своему следу на десять шагов в сторону — туда, куда собирался съезжать возчик. Опустился на корточки, смёл варежкой позёмку и показал.

Трещина шла от промоины наискось, как чёрная волосная линия под слоем натёка. Она была закрыта сверху свежим ледком, намёрзшим за две ночи, и потому и не видна, и потому и снега на ней не держалось: тут вода подходила близко, и снег подтаивал и сдувался.

— Вот. И вон там ещё, видите, где темнее пятно. Это не тень. Это вода в трёх сантиметрах.

Возчик присел, снял варежку и потрогал голой рукой. Потом постучал костяшками — звук был не тот, что на колее: глуше, коротко, без звона.

— Мать честная, — сказал он. — А сверху-то как хорошо лежит.

— Хорошо лежит, — согласился я. — Тут во время того боя сапёр немецкий провалился по грудь, вон у той сваи. Его шупом вытаскивали.

Старшина посмотрел на промоину, потом на свою колонну, растянувшуюся по берегу, и сделался ещё сердитее — но уже не на меня.

— Пантелеймон, — сказал он возчику. — Слышал?

— Слышал.

— Разворачивай в колею. — И, повернувшись к своим, заорал в полный голос, так что эхо пошло по реке: — Все слушают сюда! Идти по вешкам! Кто увидит чистый лёд и обрадуется — тот и потонет! Чистый — значит вода близко, снег стоял! Интервал двадцать шагов, не толпиться! Сорокин, ты понял? Повтори!

— Понял, интервал двадцать, — отозвался откуда-то Сорокин.

— Не «понял», а повтори, почему чистый лёд плохой!

— Потому что вода близко и снег с него стоял.

— Вот.

Я постоял ещё минут пятнадцать. Старшина сам развёл сани по интервалу, сам довёл первую половину до середины и вернулся за второй; на середине он останавливался и оглядывался, проверяя, тянутся ли за ним. Один раз крикнул мне: «Сержант, а у поворота вешка косо

стоит, не сбило?» — и я крикнул, что косо она стоит нарочно, показывает, в какую сторону обходить.

После этого я ушёл. Не потому, что стало неинтересно, а потому, что дальше моего участия уже не требовалось, и торчать на льду с умным видом было бы просто способом греться о собственную полезность.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.